



В. Ф. ЧИЖ

Болезнь Н. В. Гоголя

<фрагменты>

VIII

Хотя деление жизни, так же как и болезни, на отдельные периоды всегда не совсем точно, так как в течении болезни нет определенных границ, но для удобства приходится прибегать к такому искусственному делению. Период жизни Гоголя с 1842 по 1848 гг. мы можем характеризовать как последний период его писательской деятельности, период, в который он много писал писем.

В этом периоде жизни Гоголь трудился над вторым томом «Мертвых душ», написал «Выбранные места», «Авторскую исповедь», «Размышления о Божественной литургии», «Развязку Ревизора» и несколько мелких статей («Учебная книга словесности», «О сословиях в государстве», «Заметки о сельском хозяйстве» и т. д.).

Таким образом, в количественном отношении этот период может считаться относительно продуктивным.

Особенно много в этом периоде Гоголь писал писем; подсчитывая число страниц писем Гоголя в редакции Шенрока (С. –Петербург, издание Маркса), мы находим, что все письма, написанные Гоголем, до 1842, занимают всего 760 страниц; письма, написанные Гоголем с 1842 по 1848 гг. занимают 1105 страниц; письма последнего периода помещаются всего на 278 стр. Особенно много Гоголь писал в 1847 г., а именно его письма за этот год занимают 337 стр. Если можно допустить, что из писем, написанных до 1842 г., относительно много утрачено, то этого нельзя допускать относительно писем, писанных после 1847 г.: тогда Гоголь пользовался наибольшею известностью, и не только его письма, но даже ничтожные записочки тщательно сохранялись.

Большая литературная производительность Гоголя за этот период вполне объясняется изменением характера его деятельности, подготовленным уже в предыдущем периоде. Гений Гоголя окончательно погас в 1841 г.; художественное творчество стало невозможно, но патологическая его организация осталась; на почве этой организации, или вследствие этой организации развились болезненные явления, объясняющие нам деятельность Гоголя в этом периоде. Патологические проявления организации Гоголя прежде заслонялись его гениальным творчеством; зачатки болезни или семена ее теперь вполне определились, и гениальный художник превратился в моралиста, проповедника. Понятно, что его друзья и поклонники не могли понять причин такого странного превращения, но оно было так странно, что здравый смысл мог подыскать только одно объяснение — несчастный поэт сошел с ума. Белинский, чутьем совершенно правильно понявший главный симптом болезни Гоголя («Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением может быть плодом или гордости, или слабоумия»), вследствие своего неправильного понимания сущности душевных болезней, сомневался в болезни Гоголя: «Некоторые остановились было на мысли, что ваша книга есть плод умственного расстройства, близкого к положительному помешательству. Но они скоро отступились от такого заключения: ясно, что книга писана не день, не неделю, не месяц, а, может быть, год, два или три; в ней есть связь, сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимн властям предрержащим хорошо устраивает земное положение набожного автора».

Белинский не знал, что душевные болезни длятся годами, что душевнобольные умеют писать связно и обдуманно, что они очень почтительны к властям предрержащим.

В этом печальном периоде литературной деятельности Гоголя наиболее проявилась его патологическая организация, наиболее ясно обрисовалась вся его патологическая индивидуальность. Художественное творчество, так высоко вознесшее Гоголя в глазах современников, уже не заслоняло собою больного человека со всеми несимпатичными чертами, свойственными больным.

Нам очень трудно следить за развитием болезни Гоголя, во-первых, вследствие его скрытности, во-вторых, вследствие того, что болезнь нашего великого поэта несколько своеобразна, в-третьих, вследствие несовершенства психиатрии.

Гоголь скрывал, и притом весьма искусно, свою болезнь от самых близких своих друзей. «Эти болезненные страхи, эти непонятные беспокойства, эти беспрестанные ожидания чего-то страшного, долженствующего сей же час разразиться, — все это уже у меня было, хотя я и скрывал это в себе и не показывал наружно. Это было еще тогда, когда вы были в Риме», пишет Гоголь Смирновой 4.VII.1846. Следовательно, Гоголь скрывал и сумел скрыть в 1844 г. от Смирновой свою болезнь. Эта очень умная и искренно расположенная к Гоголю дама не замечала тяжелой болезни своего друга; понятно, менее близкие к Гоголю лица и менее Смирновой одаренные могли давать только неправильные, сбивающие нас наблюдения.

Гоголь, конечно, был человек необыкновенный; я вполне согласен с К. О. Россет, нашедшим сходство между Гоголем и Ж. Ж. Руссо. Арнольд рассказывает, что это сравнение поразило своею верностью как его, так и графа А. К. Толстого. Следовательно, такие необыкновенные люди так редки, что на столетие приходится лишь одна такая личность. Нельзя отрицать того, что Гоголь как человек очень умный и пронизательный иначе относился к своим болезненным или бредовым идеям, чем обыкновенные люди, долго их проверял, сомневался в разумности очень нелепых идей. Поэтому весьма возможно, что идеи безусловно патологического характера у Гоголя не принимали того фантастического или чудовищного характера, как у многих больных. Понятно, что самую нелепую большую идею человек очень умный, одаренный художественным чутьем, сумеет смягчить, облечь в приличную форму. Однако не следует забывать, что по отношению к очень умному человеку мы должны быть гораздо строже, чем к обыкновенному; пошлость и нелепость, высказанные глупым человеком, ничуть не указывают на его психическое заболевание, но если такие же пошлости начнет говорить человек даровитый, мы вправе заподозрить в нем болезнь. В самом деле, мало ли пошляков, которым ругать мужиков «*неумытыми* рылами» — дело привычное, но если совет так ругаться исходит от даровитого писателя, мы вместе с Белинским должны сказать: «Или вы больны, и вам надо спешить лечиться, или... не смею досказать свою мысль». Если человек глупый, желая казаться мудрецом, говорит такие вещи, «уходить в себя мы можем посреди всех препятствий и волнений» или же «болящим кажется, что нет выше блага, как физическое здоровье», мы пожалеем лишь о напрасных усилиях его сказать что-либо другое,

кроме общих мест, но если такие суждения высказывает в письмах автор «Ревизора» и притом как нечто важное, как «душевное открытие», нам остается лишь скорбеть, что тяжкая болезнь отняла у нас великого писателя. Поэтому было бы весьма неправильно мерить больного Гоголя меркой, пригодной для обыкновенных душевнобольных.

Болезнь Гоголя, вследствие богатства его духовной природы, если можно так выразиться, протекала не в той грубой, очевидной для всех форме, как у обыкновенных больных.

Даже ограбленный тяжелой болезнью Гоголь все же был богаче многих обыкновенных людей; самые тяжелые проявления болезни принимали у него вид простой странности, чудаковатости. Как бы резко он ни высказывал своих идей величия, они многим не кажутся патологическими, потому что, конечно, Гоголь имел право смотреть на всех сверху вниз, и если бы он требовал к себе полного доверия и безусловного почтения как к автору «Ревизора» и «Мертвых душ», многим казалось бы, что он лишь несколько нескромен.

Наконец, нельзя забывать, что психиатрия — наука молодая и далека от совершенства; психиатры изучают душевнобольных в заведениях для душевнобольных, следовательно, сталкиваются с грубыми, законченными формами болезней. В больницы помещают тяжкобольных или, говоря иначе, совершенно сумасшедших; менее ясно выраженные заболевания приходится наблюдать случайно в житейской обстановке, следовательно, в условиях далеко неблагоприятных для научного наблюдения. Мне пришлось немало поработать, чтобы уяснить, по возможности, некоторые проявления болезни Гоголя, и, конечно, далеко не все я мог понять, далеко не все поддается точному анализу.

Эти обстоятельства необходимо иметь в виду при изучении печального периода жизни Гоголя с 1842 г. по 1848 г. Тут мы не можем объяснить себе всех подробностей, не можем останавливаться на всех деталях; непременно должны быть не совсем ясные для нас симптомы болезни. Нельзя не принять во внимание, что правильному пониманию Гоголя мешают твердо установившиеся взгляды, симпатии и антипатии; в самом деле, лица, восхищающиеся «Выбранными местами», любящие ругать «неумытыми рылами», не могут понять, что только больной Гоголь мог учить так ругаться.

Понятно, что кому по душе основные идеи «Выбранных мест», тот никогда не согласится с тем, что Гоголь был болен, когда писал

эту книгу. Такие лица всегда будут думать, что Гоголь развился, поумнел, достиг совершенства и потому, вместо зловредных, по их мнению, «Ревизора» и «Мертвых душ», сподобился написать такую прекрасную книгу, как «Выбранные места».

При изучении этого периода жизни Гоголя нет надобности следить шаг за шагом за развитием болезни, за ее течением, потому что в эти годы в сущности уже не было вполне светлых промежутков; состояние становится более стойким и однообразным; весь этот период многострадальный поэт был тяжело болен.

Гоголь хорошо изучил свою болезнь, знал, какая обстановка дурно на нее влияет, и не ошибся в том, что пребывание в России будет ему крайне тяжело. Уже в Петербурге он почувствовал себя очень дурно; 25.XI.1841 он пишет Прокоповичу: «Пишу к тебе после тяжелой болезни, которая было меня одолела и которой начало получил я в Петербурге. Теперь, слава Богу, мне гораздо лучше, хотя я исхудал сильно»; однако улучшение было непродолжительно, и 7.I.1842 несчастный поэт пишет Плетневу: «Никогда так не впору не подвернулась мне болезнь, как теперь. Припадки ее приняли теперь такие странные образы... но Бог с ними». Эти жалобы не прекращаются, и 22.III.1842 он пишет матери: «И что всего хуже, мною овладело тягостное и тоскливое состояние духа, которое и прежде, и в первый мой приезд в Россию, мною, было, овладело. Влияние ли климата или что другое, дурно то, что это действует на мои умственные занятия, и я до сих пор не в силах привести в порядок дел своих».

Более откровенно Гоголь пишет о своей болезни Балабиной в 1842 г. (дата письма неизвестна). Он так описывает свое состояние: «С того времени, как только ступила моя нога в родную землю, мне кажется, как будто я очутился на чужбине. Вижу знакомые, родные лица, но они, мне кажется, не здесь родились, а где-то их в другом месте, кажется, видел, и много глупостей, непонятных мне самому, чудится в моей ошеломленной голове. Но что ужасно, что в этой голове нет ни одной мысли...» Если мы сопоставим это удивительное по меткости выражения описание болезненного состояния с тем, что писал Гоголь в феврале 1842 г. той же Балабиной, мы многое пойдем в болезни многострадального автора «Мертвых душ». «Я был болен, очень болен и еще болен донныне внутренно. Болезнь моя выражается такими страшными припадками, каких никогда со мной еще не было, но страшнее всего мне показалось то состояние, которое напоминало мне ужас-

ную болезнь мою в Вене, а особенно когда я почувствовал то подступившее к сердцу волнение, которое всякий образ, пролетающий в мыслях, обращало в исполина, всякое незначительно-приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль и потом следовали обмороки, наконец, совершенно сомнамбулическое состояние».

Великий знаток человеческой души очертил нам достаточно разумительно свое состояние; прежде всего он отмечает ослабление или притупление восприимчивости; ему все, как он сам хорошо это понимает, кажется иначе, ему кажется, что он видел москвичей где-то в другом месте, ослабление восприимчивости доходит до того, что в письме к Балабиной он сравнивает себя с болваном для примеривания шляп. «Вы можете... мести у меня под носом щеткой, и я не чихну и даже не фыркну, не пошевелюсь». Голова «ошеломлена», не способна к произвольной, самостоятельной деятельности, в ней «нет ни одной мысли», конечно, разумной, нет произвольного мышления. Психическая жизнь, однако, продолжается, но вместо восприятий действительности, вместо мыслей, возникавших прежде, в сознании возникает «много глупостей», эти странные, глупые, по убеждению самого больного, образы и мысли появляются не так, как прежде образовались восприятия и мысли, а «чудятся»; и их содержание, и их возникновение так странны, так непонятны, что бедный больной понимает, что это ему чудится, что образы странны и что его голова ошеломлена.

Конечно, мы не знаем, какое психическое состояние Гоголь называл «сомнамбулическим», но очевидно, что этим словом он обозначал состояние нормальное, такое, когда душевная жизнь протекала у него иначе, чем прежде, когда ему «чудились» «глупости», т. е. мысли, образовавшиеся не из восприятия действительности, не из логического сочетания прежде воспринятых образов. Нужно думать, что его сознанием завладевали образы и мысли, похожие на беспорядочные, неясные сновидения; в сомнамбулическом состоянии, как и во сне, он уже не мог управлять ходом мыслей, не мог направлять свои органы чувств на восприятие действительности, не мог критически относиться к содержанию своего сознания. Эти новые образы и мысли, возникающие помимо воли, ошеломили его голову.

Гоголь не говорил, какие именно «глупости» ему «чудились», как не говорят нам об этом многие больные, и тяжело, и стыдно говорить

о «глупостях»; больные еще надеются отделаться от «глупостей», овладеть собою. Мы можем лишь догадываться, что чудилось Гоголю, потому что он нам прекрасно описывает резкие колебания своих чувствований; больной испытывал то «страшную радость», то «мучительную печаль»; эти резко выраженные чувствования, конечно, должны были сочетаться со свойственными или сродными им идеями. Мы всегда радуемся чему-нибудь, так же как печаль всегда у нас сопряжена с мыслями о несчастье, потере, страдании и т. д. При первых таких припадках болезни Гоголь, понимавший, что его «ошеломленной» голове «чудятся» «непонятные глупости», по всей вероятности, понимал, что и радость, и печаль беспричинны, но когда припадки стали чаще и продолжительнее, должен был свыкнуться с этими новыми состояниями, которые, конечно, мало-помалу сливались, соединялись со всем его *я*. Радость сочетается у нас с идеями о богатстве, величии, превосходстве, могуществе, святости, печаль всегда сочетается с идеями о болезни, ничтожестве, греховности, преследованиях, оскорблениях. Если радость возникает часто и притом такая, что ее «не в силах вынести природа человека», больной необходимо должен прийти к убеждению, что он обладает необычайной святостью, стоит в сношениях с высшими силами, что он выше «природы человека». Ведь мы по опыту знаем, что радости без причины не бывает, а следовательно, больной, переживающий «страшную радость», должен считать себя счастливым, т. е. или богатым, или святым, или очень умным.

У Гоголя, как это бывает у многих больных, были и соответствующие колебаниям чувствований изменения в умственной деятельности, он сам говорит, что «волнение обращало в исполина всякий образ, пролетавший в мыслях», и действительно такими «исполинами» следует считать его идеи об обладании «высшей силой», о даре пророчества, о нравственном совершенстве.

Мы не знаем, когда начались у Гоголя эти состояния; почти все больные рассказывают о таких припадках лишь долго спустя после их возникновения; принимая во внимание скрытность Гоголя, идеи величия, высказанные в его письмах 1841 г., мы вправе заключить, что они были уже в 1841 году, а может быть, и ранее. Вследствие таких припадков или состояний смутные идеи величия, и ранее бывшие у Гоголя, должны были принять ясную форму и, что еще важнее, занять очень видное место во всей его жизни. Но рядом с идеями, сопряженными с радостью, должны были формироваться и бредовые идеи, сопряженные с печалью,

то есть идеи греховности, крайнего собственного несовершенства, необходимости какого-то особенного покаяния, вообще идеи мрачного, печального характера.

Идеи величия и идеи греховности могут развиваться параллельно, если «страшная радость» и «мучительная печаль» возникают одинаково часто, достигают равной интенсивности, остаются в сознании одинаково долго, но могут на первый план выступать то те, то другие идеи.

По-видимому, в Москве на первый план выступили бредовые идеи греховности, идеи о необходимости какого-то исключительного покаяния, тридцатитрехлетний Гоголь, до этого времени не посещавший с чисто религиозной целью монастырей, вдруг решает ехать в Иерусалим, решает вернуться в Россию «только через Иерусалим». Едва ли есть набожные паломники в Палестину, не молившиеся уже в близких и отдаленных от их жительства монастырях. Набожные богомольцы, побывав во многих родных монастырях, наслушавшись о Святой Земле, собираются в это отдаленное путешествие. Так делают истинно религиозные и образованные, и простые люди. Гоголь, не молившись в русских монастырях (в 1835 г. он посетил Киевские пещеры в качестве туриста), вдруг, решает, что он может вернуться в Россию «только через Иерусалим». Правда, Гоголь еще в 1835 г. на лекциях истории показывал «маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран», и потому, может быть, уже тогда у него была неясная мысль о «воспитании себя» поездкой* в Палестину. Эта быстро созревшая решимость «только через Иерусалим» возвратиться в Россию могла родиться вследствие идей о страшной греховности, только поездка в Иерусалим может очистить его от ужасных грехов, от обыкновенных грехов может очистить поездка в один из наших монастырей. Эта решимость могла родиться и вследствие идей величия: обыкновенным смертным довольно и наших монастырей, но мне, обладающему высшей силой, следует молиться в самом главном, самом святом месте. Может быть, идеи величия и греховности вместе подсказали Гоголю, что ему нужно ехать в Иерусалим.

Идеи величия преобладают в письме Гоголя к архиепископу Иннокентию от 22.V.1842: «Силой вашего же благословения благословляю вас! Неослабно и твердо протекайте пастырский путь

* Тургенев. Т. XII. С. 71.

ваш»... «Я слышу в себе, что ждет нас многозначительное свидание...» «Прощайте! примите мое душевное сильное лобзание». Человек, благословляющий и поощряющий пользовавшегося громадным уважением архиепископа, должен чувствовать себя прекрасно, должен быть убежден в своем величии.

Сколько можно судить по письмам и поведению Гоголя, идеи величия в первой половине сороковых годов у него преобладали над идеями греховности, крайнего несовершенства. Он пишет Языкову 20.VII.1842, как ему радостно находить в себе грехи; значит, их еще очень мало. «Грехов, указания грехов желает и жаждет душа моя. Если бы вы знали, какой теперь праздник совершается внутри меня, когда открываю в себе порок, дотоле не примеченный. Лучшего подарка никто не может принести мне». Мы должны верить, что действительно у Гоголя была такая странная жажда, если сопоставить письмо к Языкову с письмом к Жуковскому от 26.VI.1842. «Скажу только, что с каждым днем и часом становится светлее и торжественнее в душе моей»... «Я стал далеко лучше того, каким запечатлелся в священной для меня памяти друзей моих»... «Чище горного снега и светлей небес должна быть душа моя». Первая часть «Мертвых душ» «в сравнении с другими, имеющими последовать ей частями», похожа «на приделанное губернским архитектором наскоро крыльцо ко дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах».

Теперь Гоголь уже мог, наконец, без колебаний и сомнений, проповедовать, поучать и наставлять; неясное, безотчетное сознание своего необычайного превосходства и прежде подталкивало его поучать всех и обо всем. Но теперь уже он не довольствовался «Арабесками», т. е. сборником «детски напыщенных и утомительно пустых статей» по меткому определению Тургенева; теперь в обладании высшей силой, с душой, ставшей светлой и торжественной, он желает проповедовать религию и мораль, поучать, как нужно верить, как нужно молиться, как быть добродетельным. Для него теперь все ясно, все несомненно, каждое его слово свет... Мать свою в письме от 19.VIII.1842 он поучает: «Молитвы дел, а не молитвы слов требует от нас Иисус»... «скажите ему (страждущему бедняку) прежде всего: он должен благословить свою бедность и несчастья». Еще более категорически он наставляет князя П. А. Вяземского (ему в 1841 г. было пятьдесят лет) писать биографию Фонвизина: «Это было веление изнутри меня, потому оно могло быть Божье веление и так уважьте его».

Гоголь уже настолько болен, что не понимает упадка своего творчества; напротив, он уверен, что теперь может творить лучше. «Я могу теперь работать увереннее, тверже, осмотрительнее, благодаря тем подвигам, которые я предпринимал к воспитанию моему и которых тоже никто не заметил... Иногда силой внутреннего глаза и уха я вижу и слышу время и место, когда должна выйти в свет моя книга, иногда по тем же самым причинам, почему бывает ясно мне движение души человека, становится мне ясно и движение массы» (Письмо к Шевыреву 28.III.1843).

В лучшие свои минуты Гоголь, однако, сознает, что он утратил восприимчивость, стал равнодушен к прекрасному. «Да виноват ли я в том, что у меня точно нет теперь никаких впечатлений, и что мне все равно, в Италии ли я, или в дрянном немецком городке, или хоть в Лапландии? Что же делать? Я бы от души рад восхищаться свежим запахом весны, видом нового места, да если нет на это теперь у меня чутья. В том воля Бога» (Письмо Данилевскому 20.VI.1843).

Неспособность к художественному творчеству только иногда беспокоила Гоголя; вообще же он думал, что еще может творить, принимался за «Мертвые души», писал очень мало и уничтожал написанное. Художественное творчество уже играет небольшую роль в его жизни; он мало занимается «Мертвыми душами» и даже мало огорчается тем, что, как сам понимает, дело не двигается вперед. Он счастлив своим величием, своим совершенством, своими душевными открытиями, как вообще счастливы все такие больные в этом периоде. Увы, он уже счастлив, что испытывает «страшную радость», что всякий образ обращается в «исполина». В том же письме к Данилевскому, стесняясь с которым вообще Гоголь находил излишним, он пишет: «Мое внутреннее зрение взамен того проясняется более и более; я вижу понемногу яснее то, что вдали, бодрей продолжаю путь свой и радостнее становится взор мой по мере того, как гляжу более вперед и не променяю минут этой радости ни даже на юность, ни даже на свежесть первых впечатлений».

В таком состоянии Гоголь нуждается в слушателях, еще более почтительных, чем Иванов. Языкову, видимо, были не совсем приятны поучения Гоголя, который проповедовал весьма настойчиво и высказывал явно ипохондрические идеи. Большой Языков писал брату: «Холодно мне и скучно и даже досадно, что я согласился на льстивые слова Гоголя и поехал в Рим, где он

хотел и обещал устроить меня как нельзя лучше, на деле вышло не то» (Шенрок IV, 171). С Языковым, по-видимому, Гоголь был откровеннее и высказывал ему ипохондрические бредовые идеи; Языков писал брату: «Гоголь рассказывал мне о странностях своей (вероятно, мнимой) болезни: в нем-де находятся зародыши всех возможных болезней, также и об особенном устройстве головы своей и неестественности положения желудка. Его будто осматривали и ощупывали в Париже знаменитые врачи и нашли, что желудок его вверх дном! Вообще в Гоголе чрезвычайно много странного» (там же, стр. 43). По своей мягкости и деликатности Языков мог выслушивать наставления Гоголя, но уж, конечно, не мог подпасть влиянию проповедника, так много думающего о своем здоровье, с особенным устройством головы. Языков, как и все истинно религиозные люди, хорошо знал, что настоящие пророки и проповедники меньше всего заботились о своем здоровье, меньше всего занимались своим я.

Гоголю пришлось поискать другую аудиторию для своих проповедей, и притом дамскую, так как мужчины не так легко поддаются внушению и вообще недолюбливают назойливых проповедников. Смирнова приезжает в Рим, и Гоголь ей проповедует с таким успехом, что Смирнова с ревностью прозелитки вводит его в дом Вьельгорских, где Гоголь скоро завоевывает положение наставника и утешителя.

Мы не знаем, как поучал Смирнову Гоголь, как он убедил эту очень умную даму в своей святости, но если даже при чтении писем Гоголя к Смирновой у Базарова «скверно во рту» делалось, то трудно даже вообразить, как ужасны были для здравомыслящего человека беседы больного Гоголя с истерической «знатной дамой». В поучениях Гоголя светским дамам, конечно, были те же качества, которыми Тургенев характеризует его письма к ним: «Более противной смеси гордыни и подыскивания, ханжества и тщеславия, пророческого и прихлебательского тона в литературе не существует».

Смирнова уже в Риме настолько уверовала в Гоголя, что в июле 1843 г. он пишет ей без стеснений, «Призниц¹ сажает его (А. О. Россета) на целую четверть часа бригадиршей в воду»... «он уж не чувствует, есть ли у него бригадирша или нет».

Время, проведенное Гоголем в обществе знатных дам, было именно тем периодом болезни, когда на первый план выступали идеи величия, когда у Гоголя, как он сам признается в письме к Данилевскому, было много радостных минут.

Гоголь уже окончательно убедился, что для того, чтобы чему-нибудь учить, не нужно учиться самому, не нужны впечатления, не надо перерабатывать воспринятое так, как все люди. Для него нет необходимости наблюдать, замечать, обдумывать, сомневаться; притом же знания, приобретенные обычным путем обыкновенными смертными, так несовершенны. Гоголь теперь уже вполне убежден, что он одарен необычайной способностью, он узнает истину самым простым, данным ему, за неизвестные нам «подвиги», способом. Во-первых, он обладает «внутренним чутьем», которым может «прозревать» из Дюссельдорфа в Москву, что «от тебя (Языкова) не так далеко время писанья и работы». В том же письме Гоголь (от 4.XI.1843) сообщает, как он узнает истину; этот способ поразительно прост. Нужно молиться и «окажутся в душе вопросы»... «И за вопросами в ту же минуту последуют ответы, которые будут прямо от Бога. Красота этих ответов будет такова, что весь состав уже сам собою превратится в восторг, и к концу какой-нибудь недели увидишь, что уже все составилось, что нужно: и предмет, и значение его, и сила и глубокий внутренний смысл — все, стоит только взять в руки перо, да писать».

Интересно, что гениальный Гоголь уже не замечал, что это средство ему не помогает, не замечал бросающегося в глаза противоречия: сам он лечился и у Призница, и в Остенде, и в Карлсбаде, консультировал знаменитых врачей, а Языкова поучал, что «болезнь нужно побеждать».

При всем нежелании, я здесь должен коснуться установившихся мнений о крайней религиозности, мистицизме и аскетизме Гоголя; я вполне понимаю, как трудно касаться этих вопросов.

Гоголь никогда не был аскетом и всегда жил так, как ему нравилось, он и теперь очень толково обделал свои денежные дела, поручил дела своим московским друзьям, через Смирнову получал пособия и от Двора, и из казначейства. Он жил там, где лучше всего себя чувствовал, много путешествовал, тратил деньги на лечение, на книги, и вообще говорить о каком-либо аскетизме нет основания. Правда, он стал меньше есть, но не вследствие аскетизма, а потому, что желудок отказывался переваривать много пищи, но он пользовался прекрасным столом у своих знатных друзей. Сам Гоголь неоднократно говорил, что у него, кроме чемодана, ничего нет, и он «за комфортом не гоняется», но останавливался он в хороших гостиницах, а всякий, кто много путешествовал, знает, как стесняет путешественника громоздкий багаж. Я не могу считать

религиозным человека, который решается писать про свои наставления: «Не пренебрегайте никак этими правилами: они все истекли из душевного опыта, подтверждены святыми примерами и потому примите их, как повеление самого Бога» (Письмо к Вьельгорской от 26.III.1844). Свои наставления сравнивать с повелениями Бога не будет истинно религиозный человек, так же как и не будет называть тех, кто готов его наставления принимать за повеление Бога, «благоуханнейшей» «благодатной» (Письма к А. М Вьельгорской от 2 и 16.X.1844); а старого приятеля за неисполнение ничтожной просьбы * человек г... (Письмо к Аксакову 16.V.1844).

Трудно и даже невозможно считать истинно-религиозным человека, который говорит: «Трудно человеку придумать, чем бы оскорбить меня» и вместе с тем ругает Погодина за то, что он приложил к своему журналу его портрет, Плетнева — за то, что тот высказал свое мнение о недостатке образования Гоголя.

Можно лишь удивляться злобности, с которой Гоголь ругает Погодина, «точно чушка, которая не дает... порядочному человеку, как только завидит, что он присел где-нибудь под забор, она сует под самую... свою морду, чтобы схватить первое... Ейхватишь камнем по хрюкалу изо всей силы, ей это ни по чем: она чихнет слегка и вновь сует хрюкало под... ** (Письмо к Языкову 26.X.1844).

Добродушный Плетнев, поверив уверениям Гоголя, что он желает указания его ошибок, написал ему («Русс<кий> Вес<тник>», 1840. XI. 36) «Ты только гений-самоучка, поражающий творчеством своим и заставляющий жалеть о своей безграмотности и невежестве в области искусства»², и Гоголь, позабыв о бесчисленных услугах Плетнева, так его отделяет в письме к Смирновой (1844 г.): «Плетнев... вовсе невинен, но зато он смешнее всех и точный ребенок...» «Из его письма я узнал, что он больше ребенок, нежели я предполагал, в письме юношеские упреки, юношеские стремления...» «К этому примешалась мысль о единстве церкви, в каком-то безотчетном, не объяснившемся для него самого соединении ее с литературой...» «Плетнев имеет ум неглубок и *немного-сторонен*, а потому он не мог видеть далее того горизонта, который обнимают глаза его, и естественно, что отвергает и самую мысль, что есть пространство вне им зримой черты».

* Этим же нецензурным словом он называет того же приятеля в письме к Языкову от 12.XI.1844.

** Точками обозначены совершенно неудобные для печати слова.

Тогда же Гоголь окончательно потерял уважение к науке, к научной мысли, хотя и раньше по своему умственному складу не мог вполне ценить научное мышление; все же он не отрицал значения научной мысли, кое-что читал, кое-чем интересовался. Теперь он овладел новым способом познания, с презрением относится и к науке, и к ее крупнейшим представителям, он открыл новый способ узнавать истину, он человек необыкновенный. «Человеку, рожденному с большими силами, следует, прежде чем сразиться, глубоко воспитать себе...» «Сегодня гегелисты, завтра же шелингисты, потом опять какие-нибудь *исты*. Что же делать? Уже таково стремление общества быть какими-нибудь *истами*». Естественно, что Гоголь теперь с полнейшей самоуверенностью поучает К. С. Аксакова приготовить множество «прекрасных филологических статей». «Этот я могу сказать вперед, потому что я сам слушал с большим удовольствием, когда он изъяснял мне производство многих слов». Гоголь, совершенно не знавший филологии, даже поучает К. С. Аксакова, как он должен работать. Необходимо заметить, что это письмо было от 21.XII.1844, а уже 17.IV.1844 С. Т. Аксаков писал Гоголю: «Мне 53 года. Я тогда читал Фому Кемпийского, когда вы еще не родились...» «Я не порицаю никаких, ничьих убеждений, лишь были бы они искренни, но уж, конечно, ничьих и не приму. И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского, несколько не зная моих убеждений, да еще как? в узаконенное время, после кофею, и разделяя чтение на главы, как на уроки... И смешно, и досадно... И в прежних ваших письмах некоторые слова наводили меня на сомнения. Я боюсь, как огня, мистицизма, а мне кажется, он как-то проглядывает у вас... Терпеть не могу нравственных рецептов, ничего похожего на веру в талисманы... Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтобы не пострадал художник...» Само собою разумеется, что Гоголь не обратил внимания на справедливый протест благодушного и умного С. Т. Аксакова и не замедлил в письме к отцу снабдить сына непрошенными советами.

Зиму 1844–<18>45 гг. Гоголь жил во Франкфурте-на-Майне у Жуковского; зима, проведенная на севере, отозвалась очень дурно на его здоровье: впрочем, может быть, ухудшение последовало и самостоятельно, без всякой причины. Весной или летом 1845 г. (точно не установлено) Гоголь пишет протоиерею Базарову: «Приезжайте ко мне причастить: я умираю».

В письме к Языкову от 5.VI.1845 Гоголь так описывает свое состояние: «Я хуюеу теперь и истаиваю не по дням, а по часам;

руки мои не согреваются вовсе и находятся в водянисто-опухлом состоянии». В письме к Жуковскому от 14.VI.1845 он дополняет картину болезни «исхудание и странный болезненный цвет кожи». Гоголь едет советоваться с знаменитыми врачами; Круккенберг, так же как и Кноп, нашел, что болезнь чисто нервная; Карус нашел болезнь печени и направил Гоголя в Карлсбад, где местный врач Флеклес подтвердил распознавание Каруса, но больному стало хуже. Гоголь поехал к Шенлейну, который «решил, что во мне расстройство в нервической системе, так называемое *nervoso fascioso* (в брюшной полости)» (Письмо к Толстому 1.IX.1845). В письме к Аксакову от 29.X.1845 Гоголь несколько иначе называет свою болезнь. «По его (Шенлейн) мнению, сильнее всего у меня поражены были нервы в желудочной области, так называемой системе *nervoso fasciculososo*». Таким образом, нам совершенно неизвестно, чем, собственно, в то время хворал Гоголь, в чем состояло наступившее в 1845 г. ухудшение; мы знаем только, что врачи не одинаково определяли болезнь Гоголя. Мы не понимаем, как назвал Шенлейн болезнь Гоголя; может быть, Гоголь перепутал слова Шенлейна, а может быть, этот врач понял, что имеет дело с крайне мнительным больным, сказал что-нибудь, чтобы успокоить больного.

Гоголь побывал в Греффенберге и в октябре приехал в Рим, где наступило некоторое улучшение; 25.X.1845 Гоголь писал к Аксакову: «Здоровье мое хотя и стало лучше, но все еще как-то не хочет совершенно установиться. Чувствую слабость и, что непонятнее, до такой степени зябкость, что не имею времени сидеть в комнате: должен ежеминутно бегать, согреваться. Едва же согреюсь и приду, как в миг остываю, хотя комната и тепла, и должен вновь бегать согреваться. В такой беготне проходит почти весь день, так что не имеется времени даже написать письма, не только что другое».

Д-р Баженов^{*3} предполагает, что осенью 1845 г. в Риме Гоголь страдал малярией; малярией и обусловленным ей малокровием он объясняет зябкость Гоголя, но, во-первых, Гоголь приехал в Рим во второй половине октября (9.X он писал Иванову из Вероны) и почувствовал себя лучше; 24.X он пишет Смирновой: «Мне гораздо лучше»; об улучшении же он писал и Аксакову от 25.XI. Во-вторых, Гоголь жаловался на зябкость уже в 1839 г., и, как мы

* Op. cit. С. 25.

видели, это явление его особенно мучило всю весну и лето 1845 г.; уже в июне истощение было так ужасно, что Гоголь в письме от 14.VI.1845 писал: «По моему телу можно проходить полный курс анатомии: до такой степени оно высохло и сделались кожа да кость»*.

Сам Гоголь в письме к Погодину от 8.II.1846 г. так описывает свое состояние за прошлый год: «Тяжки и тяжки мне были последние времена и весь минувший год так был тяжел, что я дивлюсь теперь, как вынес его. Болезненные состояния до такой степени (в конце прошлого года и даже в начале нынешнего) были так невыносимы, что повеситься или утопиться казалось бы похожим на какое-то лекарство и облегчение).

Необходимо отметить, что это ухудшение в болезни Гоголя не сопровождалось тоской, печалью или хандрой; настроение было весьма удовлетворительно. В том же письме Гоголь пишет: «Как ни страдало мое тело, как ни тяжка была моя болезнь телесная, душа моя была здорова; даже хандра, которая приходила в минуты более сносные, не посмела ко мне приближаться. И те душевные страдания, которых доселе я испытал много, замолкнули вовсе»... «Дух мой становится в такое время связным и расположенным к делу». То же самое Гоголь пишет Смирновой в письме от 20.II.1846: «Голова и мысль вызрели, минуты выбираются такие, каких я далеко не достоин, и все время как ни болело тело, ни хандра, ни глупая необъяснимая скука не смела приближаться ко мне».

Теперь уже ясно, что ухудшение здоровья Гоголя, последовавшее в 1845 г., не было припадком меланхолии, а потому никоим образом нельзя, как то делает д-р Баженов, всю болезнь считать периодической меланхолией. Действительно, у Гоголя было несколько вполне выраженных припадков меланхолии, были и не вполне законченные приступы, но, кроме припадков меланхолии, у Гоголя было много и других патологических явлений. Болезнь Гоголя крайне сложна, складывается из многих симптомов, из которых только некоторые нам известны, и притом не все известные нам симптомы понятны. В самом деле, как мы можем понять ухудшение

* 29.III.1845 Гоголь пишет гр. Толстому: «Тело мое дошло до страшных охладеваний; ни днем ни ночью я не мог согреться. Лицо мое все пожелтело, а руки распухли и почернели и были ничем не согреваемый лед, так что прикосновение их ко мне пугало меня самого».

1845 года, если его, очевидно, не понимали исследовавшие Гоголя врачи. Можно, конечно, делать предположения и догадки, но они ничего нам не выясняют, и потому я не могу согласиться с д-ром Баженовым, с его крайне простым определением болезни Гоголя. Я думаю, что гораздо правильнее ограничиться уяснением того, что нам более известно о болезни Гоголя.

Тяжкие физические страдания, были ли они вызваны действительно каким-либо органическим заболеванием, или были чисто ипохондрического характера, весьма напугали Гоголя, сделали его набожным. Он не только советовался с врачами, принимал лекарства, пил воды, пользовался гидротерапевтическим лечением, уехал на юг, но усердно молился Богу о выздоровлении, просил всех, кого мог, молиться о своем выздоровлении. До этого времени Гоголь не отличался особою набожностью. Говорят, что религиозность была внушена ему матерью, приписывают даже эту заслугу законоучителю высшей гимназии в Нежине *, однако все воспоминания лиц, знавших Гоголя, и главным образом его письма свидетельствуют, что его набожность развивалась параллельно с развитием болезни. Особой симпатии к духовенству у Гоголя долго не было; известно, что он любил рассказывать непечатные анекдоты о «попах»; даже в письме к Белинскому в ответ на знаменитое письмо последнего Гоголь писал: «Я очень много знал дурных попов и могу вам рассказать множество смешных про них анекдотов». Правда, Гоголь видел в улучшениях своего состояния особую к нему милость Божию, но ведь так думают многие верующие люди. Даже в 1845 г. Гоголь не обнаруживал особой набожности и к церковным обрядам относился небрежно. 8.VII.1843 он пишет к Языкову: «Сделай также следующее заведение; всякую субботу ввечеру отслужи у себя всенощную. Тебе стоит послать только за первым попом, и он отслужит у тебя в комнате». Другим языком заговорил Гоголь вследствие страданий, пережитых им в 1845 г., а именно 15.VII. он просит Смирнову: «Итак, я теперь, перекрестясь и благословясь и предаясь совершенно на волю Божию, еду в Карлсбад; а вас прошу помолиться обо мне, бесценный друг мой Александра Осиповна. Отправьте молебны о моем выздоровлении и попросите помолиться обо мне того из служителей Божиих, чьи молитвы доступнее и действительнее. Молитвы лучших из нас много могут сделать». Особенно

* Древняя и Новая Россия. Т. II. 1879.

горячо просит Гоголь молиться о его выздоровлении Шереметеву (25.VII.1845), а матери пишет: «Отправить обо мне молебен не только в вашей церкви, но даже если можно и в Диканьке, в церкви святого Николая, которого вы всегда так умоляли о предстательстве за меня». Чем была обусловлена набожность Гоголя, хорошо видно из его писем к матери от 15.VIII.1845: «А обо мне, то есть о моем выздоровлении, не переставайте молиться крепко» и от 11.IV.1846, объяснив ей, где он предполагает лечиться в 1846 году, он пишет: «Чувствую, что больше всего мне следует надеяться на Святые Места и поклонение Гробу Господню, чем на докторов и лечение». Поэтому Гоголь, как он пишет матери, решает ехать в Палестину, предварительно полечившись и проведя зиму на юге. Выходит, что поездка в Палестину — последнее средство, к которому придется прибегнуть, испытав более доступные. Так Гоголь, как известно, и сделал.

Чем больше Гоголь страдал, тем больше лечился и молился; лечение и молитвы больше всего занимают его внимание. В июне 1846 г. он пишет гр. Толстому: «Спросите у Груби, почему мне в Германии стали давать из аптек порошок не темно-серый, как в Париже, но совсем темный и притом сухой, а не влажный. Затем мысленно обнимаю вас и графиню, молю Бога, да ниспошлет все, что наиболее нужно душам вашим. Остаюсь вечно ваш Г. Перед выездом в рассеянности я позабыл вам сказать, что в одной молитве из тех, которые вам дал, пропущена одна строчка...» Как-то и грустно, и неловко читать такое сопоставление порошков и молитв; только болезнь доводит до такого малодушия, что человек не знает, что важнее, порошки или молитвы. Истинно религиозные люди не пишут в письме о цвете порошка, а в *Post-Scriptum*'е о пропущенной строке молитвы.

Лечение мало помогает Гоголю, и набожность его все растет; в 1847 г. он вступает в переписку с о. Матвеем. Чтобы понять, как тяжкие нервны страдания изменили Гоголя, нужно сравнить его письмо к архиепископу Иннокентию и письмо 1845 г. к о. Матвею; тяжело страдающий Гоголь просит о. Матвея «молиться обо мне крепко, крепко...» «Помолитесь же обо мне».

Хотя последнее письмо написано к простому священнику, но Гоголь уже не говорит «жму заочно вашу руку», «благословляю вас», «приимите мое душевное сильное лобзание», «вы меня не забудете, я знаю», а просит замечаний и упреков, «сказать мне хоть два словечка о “Выбранных местах”».

Таким образом, набожность, появившаяся вместе с физическими страданиями, усиливалась вместе с усилением этих страданий; когда Гоголю становилось лучше, ослабевала и набожность, а именно, когда вследствие путешествия его здоровье несколько улучшилось, Иерусалим не произвел на него должного впечатления. Впрочем, это будет более выяснено, когда мы перейдем к его путешествию в Палестину.

Считаю необходимым оговориться, что в набожности Гоголя не было ничего патологического, что никоим образом нельзя считать его крайнюю набожность проявлением его болезни, так же как нельзя считать и доказательством его психического здоровья. Все психиатры убеждены в необходимости богослужения в заведениях для душевнобольных; в благоустроенных заведениях для душевнобольных имеются храмы.

Понятно, что я не считаю себя компетентным в вопросах религиозности и набожности и потому не могу говорить с должной полнотой о религиозности и набожности Гоголя, но как врач, видевший немало тяжело страдающих и умирающих больных, могу сказать, что именно во время болезни проявляется истинная религиозность. Истинно религиозные люди не только терпеливо переносят страдания, но и мужественно смотрят в глаза опасности, мало жалуются на болезни и с внушающей уважением сосредоточенностью готовятся к смерти, заботятся о своих близких. Одним словом религия дает им могучее утешение. Люди, в жизни которых религия имела мало значения, видя, что лечение не помогает, усиленно молятся, мало веря в силу молитвы, но она им мало и помогает. Мне всегда было крайне тяжело у постели таких больных: они страшно боятся смерти, возлагают упования то на порошки, то на молитвы, заказывают молебны, собирают консилиумы. Одним словом, это те люди, про которых народ говорит, что они не прибегают к молитве, пока гром не грянет.

Поэтому я еще раз настаиваю, что Гоголь не был истинно религиозным человеком, и только тяжкие физические страдания сделали его набожным.

Под влиянием все ухудшающегося здоровья у Гоголя окончательно вырабатывается мысль, что он живет в какое-то особенное время, что он переживает какую-то болезненную эпоху. Вначале он высказывает эту мысль в неопределенной форме; 21. XII. 1843 он пишет Языкову: «Чувствую, что беспокойство духа, смешанное с непонятной тоской, есть ныне болезнь повсеместная, вследствие

какого-то тягостного расположения в воздухе; все времена года перепортились»; конечно, дурная погода влияет на состояние здоровья, и потому с Гоголем можно согласиться. Когда во Франкфурте состояние здоровья Гоголя резко ухудшилось, эта идея приняла какую-то странную окраску: «...громоздкий удар упадет на нынешних развратников, осмеливающихся пиршествовать и бесчинствовать в то время, когда раздаются уже действия гнева Божия, и невидимая рука, как на пиру Вальтасаровом, чертит огнем грозящие буквы. В-третьих, упрек, и еще, сильнейший, может быть, упадет на тех, которые осмеливаются даже в такие святы минуты Божьего посещения пользоваться смутностью времени» (Письмо к Языкову от 26.XII.1844).

Более категорически высказывается Гоголь в письме к Смирновой от 11.V.1845: «В этом году особенно на всех наведено более или менее это нервическое расстройство, приведены в слезы, в уныние и в беспокойство те, которые даже никогда дотоле не плакали, не унывали и не беспокоились». Конечно, Гоголь ничем не доказывает справедливости своей мысли, да и не старается доказать. Уже совсем непонятно, почему Гоголь думал, что в Калуге, где он никогда не был, все больные; если он думал о слабости веры калужан, то, конечно, он жестоко заблуждался; 27.X.1845 г. он пишет Смирновой: «Все, что ни вокруг вас, суть больные, и если всмотритесь пристально, всяк требует вашей помощи. Вся Калуга будет лазарет ваш». 2.I.1846 г. гр. Толстому Гоголь пишет «Не смущайтесь никакими препирательствами о церквах и тем, что совершается в мире. Время теперь молиться, а не препираться».

Едва ли чем-либо, кроме болезни, можно объяснить, что Гоголь решительно не понимал, что готовится в Германии и Италии. Как ни мало был Гоголь образован в политическом отношении, все же, будь он здоров, как человек очень умный, не прозевал бы движения, изменившего и политический, и общественный строй Германии и Италии. Из его писем видно, что подготавливающееся освобождение Италии и Германии его ничуть не интересовало, и он его совершенно не замечал. Он, как и многие больные, переносил на окружающее собственное настроение; ему казалось, что все переменялись, потому что болезнь изменила его самого, казалось, что наступила какая-то особенная эпоха. Одним словом, он составил себе самое превратное суждение о действительности, потому что внимание его почти всецело было поглощено телесными страданиями, идеями величия и идеями собственной греховности.

Уже весной он решает путешествовать. «В продолжение путешествия я устроил так, чтобы в дороге писать, потому что труд мой нужен: приходит такое время, когда появление моей поэмы есть существенная необходимость для теперешнего положения дел и мыслей» (Письмо Жуковскому от 16.III.1846). Гоголь решает бороться с духом времени, помогать всем своими советами, направлять на путь истинный. Плетневу 4.VII.1846 он пишет «приходит уже то время, в которое все объяснится», а 20.VII «Светло будет и во всех душах, омрачаемых сомнениями и недоразумениями» 26.VII он просит Шевырева напечатать второе издание «Мертвых душ» в количестве 2.400 экз. «Нужно будет его отпечатать в месяц, дабы оно могло явиться в свет никак не позже 15 сентября. Экземпляры разойдутся — это я знаю. После того голоса, который я подам от себя, перед моим отправлением на поклонение к Святым Местам, их будут раскупать». Такие надежды возлагал многострадальный Гоголь на «Выбранные места». 30.VII, посылая начало труда Плетневу, он писал: «Печатай два завода и готовь бумагу для второго издания... это до сих пор моя единственная дельная книга».

Путешествие и купанье в Остенде несколько подкрепили здоровье Гоголя, и он усидчиво работал над «Выбранными местами», и 16.X.1846 уже из Франкфурта послал Плетневу последнюю тетрадь.

Окончив «Выбранные места» Гоголь посылает «Развязку Ревизора», наставляет Щепкина и Сосницкого⁴ как играть, и, наконец, доходит до того, что требует: «По окончании пьесы, когда вас вызовут, вы, раскланявшись с публикой, скажите ей, что неуютно ли ей купить Ревизора, который продается при выходе из театра, в пользу бедных, по рублю серебром с развязкой вместе» (Письмо к Сосницкому 2.XI.1846).

Удивительный проект Гоголя образовать комитет для раздачи суммы, вырученной таким образом, конечно, не осуществился, в виду полной невозможности исполнить требования Гоголя. Он поручает А. М. Вьельгорской образовать большой комитет для раздачи бедным денег, которые будут выручены от продажи «Ревизора». «Я не думаю, чтобы кто-нибудь из любящих меня отказался от обязанности быть раздавателем вспомоществования. Он будет не предо мною виноват, но пред Христом...» «Позабудьте о себе вовсе. Никто из нас не должен принадлежать себе». Гоголь просит А. М. Вьельгорскую привлечь к участию в деятельности комитета А. Россети и Д. Самарина⁵.

А. Россети Гоголь пишет: «От Анны Михайловны Вьельгорской вы, я думаю, уже узнали о той обузе, которую мне угодно было возложить на вас. Как ни тяжело это бремя, но вы должны его принять... Но сверх того бремени вот вам еще другое бремя. Отправляйтесь к Плетневу и предложите ему услуги свои в печати Ревизора».

Гоголя, по-видимому, мало огорчила неудача задуманного им дела; Плетневу 4.XII.1846 г. он пишет: «Теперь же «Развязка Ревизора» в таком виде, как есть, может произвести действие противоположное и, при плохой игре наших актеров, может выйти просто смешной сценой».

О «Выбранных местах» писано так много, что нет надобности комментировать это произведение Гоголя, тем более, что, где замешаны политические симпатии, там никакие доказательства не убедят противников. В самом деле, уж кажется о завещании не может быть двух мнений. «Может ли быть безумнее гордость, как требование, чтобы по смерти его завещание было немедленно напечатано во всех журналах, газетах и ведомостях, дабы никто не мог отговариваться неведением оно? Чтобы не ставили ему памятника, а чтобы каждый вместо того сделался *лучшим*. Чтобы вы исправились о имени его?.. Все это надобно повершить фактом, который равносильно 41-му числу Мартобря (в «Записках сумасшедшего»)»*. Между тем почтенный Барсуков не находит ничего странного в этом пункте завещания, потому что и архиепископ Воронежский Антоний и митрополит киевский Константин (1159) тоже в своем завещании просили не ставить над гробом памятника. Тут же Барсуков сообщает, что завещания этих епископов стали известны лишь после их смерти**, а ведь Гоголь напечатал свое завещание *при жизни*. Также удивительно, как Барсуков не принял во внимание, какое тяжелое и ненужное огорчение Гоголь причинил этим беспримерным завещанием своей бедной матери. Болезнь Гоголя вполне объясняет нам, что Гоголь даже не понял, что он ужасно огорчил мать, но сколько-нибудь беспристрастный человек должен понять, что завещание написано больным.

Психиатр должен вполне согласиться с мнением С. Т. Аксакова*** о «Выбранных местах»: «Самое лучшее, что можно сказать о ней —

* Аксаков С. Т. Ор. cit. С. 163.

** Барсуков. Жизнь и труды Погодина. Т. 8. С. 575.

*** И. С. Аксаков в его письмах. Т. 1. С. 407.

назвать Гоголя сумасшедшим». Мебиус⁶ утверждает, что Ницше, когда писал «Заратустру», был настолько болен, что если бы он был предан суду за это сочинение, то эксперт-психиатр должен был бы высказаться за его полную неменяемость вследствие душевной болезни, что ничуть не лишает эту книгу ее достоинств, так как и сумасшедшие могут высказывать великие мысли. Если бы суд спросил мое мнение о вменяемости автора «Выбранных мест», я как психиатр высказался бы за неменяемость автора, и потому, что эту книгу писал больной, и потому, что она полна мыслями чисто патологического характера, хотя, конечно, в ней есть мысли, вполне верные, свидетельствующие о том, что их писал крупный ум, великий художник.

С. Т. Аксаков был вполне прав, когда писал 7.II.1847 сыну И. С. Аксакову: «Он, точно, помешался, — в этом нет сомнений». Даже защитники «Выбранных мест» должны сознаться, что Гоголь глубоко заблуждался относительно успеха своей книги, решительно не понимал, почему она вызвала негодование и удивление почти всей мыслящей России.

Сначала он всю вину на неуспех книги сваливает на цензурные урезки. «Образовалось что-то вроде демонского восстания к тому, чтобы воспрепятствовать ее выходу. Какие-то таинственные партии европейцев и азиатцев вместе совокупились, чтобы смутить и сбить с толку цензуру (Письмо к гр. Толстому 6.II.1847). Поэтому он хлопочет о разрешении напечатать пропущенные места и поручает Плетневу готовить второе издание «и печатай полное издание третье, не заботясь о том, что не разошлось второе. Не позабудь того, что я прошу читателей покупать не только для себя, но и для тех, которые не в силах сами купить, а для раздачи людям простым, я думаю, лучше придется книга в ее нынешнем виде» (Письмо от 11.II.1847). Шевырева Гоголь просит: «Поручай и другим узнавать, что говорят о ней во всех слоях общества, не выключая даже и дворовых людей, а потому проси всех благотворительных людей покупать книгу и дарить людям простым, неимущим (Письмо от 11.II.1847). Отзывы друзей о книге не смущают Гоголя, и хотя в письме к Жуковскому он пишет: «Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее... При всем том книга моя полезна. В одну неделю исчезнули все экземпляры ее (хотя печатано два завода). Все дотоле бывшие вопросы в литературе вдруг заменились другими и все предметы разговоров умных людей наших обществ заменились другими предметами»...

«после моей книги все как-то напряжено, все более или менее, как противники, так и защитники, находятся в положении неспокойном». Гоголь даже обвиняет своих литературных друзей в несовершенстве его книги и в самой резкости ее находит много полезного. «Мне было страшно самому за многое в моей книге, когда она печаталась, и поверь мне, что книгой моей я дал себе самому гораздо сильнейшую оплеуху, нежели друзьям своим. Но много было причин к ее изданию, а между прочим и то, чтобы увидали наконец читатели и почитатели мои — увы! — и самые друзья, что не следует торопить меня к печатанью, когда я сам чувствую, что не пришел еще в силы выражаться ясно и просто (до простоты нужно вырасти)... «Но эта резкость, дикость и заносчивость многого в моей книге расшевелит и заденет за живое многих умных людей. Что же делать, если такова натура русского человека, что его не заставишь до тех пор говорить, пока не выведешь из терпения, зацепя за самую живую струну»... «Право, труд мой больше *полезный существенный*, чем думают многие, и он стоит того, чтобы друзья мои, все мне простивши, все мои несправедливости, поработали грудью за меня (Письмо к Шевыреву 10.II.1847). Явно враждебное отношение к «Выбранным местам», почти всей публики и критики ничуть не смущает Гоголя; он считает себя вполне правым, а книгу полезной для России, а главное, для самого себя. «И многие в желании указать мне мои ошибки стали бы рассказывать те вещи, которые именно мне нужны. А этих вещей никакими просьбами нельзя вымолить. Одно средство: выпустить заносчивую задирающую книгу, которая заставила бы встрепенуться всех. Поверь, что русского человека покуда не рассердишь, не заставишь заговорить» (Письмо к Шевыреву 27.II.1847). О. Матвеев 9.V.1847 Гоголь пишет: «Итак, книга моя, прежде чем быть полезной для других, полезна и для меня, и это считаю знаком ко мне милости Божией». Гоголя не могло смущать отрицательное отношение друзей к его книге, потому что он не мог понимать истинной причины такого отношения, не мог понимать, что он оскорбил этой книгой всех благоговевших перед ним, как перед великим писателем, который могущественно содействовал самосознанию России. О своих друзьях Гоголь пишет Смирновой: «У некоторых из них не хватило разумения, они спутались — вот и все» (20.V.1847).

Гоголю не понравилось, что Белинский не похвалил его книги; в силу своего характера, Гоголь всегда поклонялся властям

предержащим, а Белинский в то время обладал почти диктаторской властью над умами значительного большинства. Автор «Мертвых душ» в то время уже вполне утратил свое проникновенное понимание людей и настолько не понимал Белинского, что порицание своей книги объяснил тем, что «он, кажется, принял всю книгу написанной на свой счет»... «Вероятно, он принял на свой счет козла, который был обращен в журналистику вообще». «Пожалуйста, переговори с Белинским и напиши мне, в каком он находится расположении духа ныне относительно меня... Если же в нем угомонилось неудовольствие, то дай ему при сем прилагаемое письмецо, которое можешь прочесть и сам» (Письмо Прокоповичу 20. VI. 1847).

Письмо Гоголя к Белинскому свидетельствует, что больной поэт решительно не мог себе представить, как он оскорбил великого критика, какое громовое письмо он получит. Как видно из письма к Прокоповичу, Гоголь надеялся на примирение с обладающим властью критиком, смотрел на дело, как на личное недоразумение, которое можно устранить. Принято, что громовое письмо Белинского произвело сильное впечатление, вызвало «крайнюю подавленность духа», чем и объясняет Шенрок (IV, 452), что Гоголь не отослал написанного им ответа. Не отрицая, что фиаско «Выбранных мест» и громовое письмо были неприятны Гоголю, на основании его писем и поведения следует утверждать, что письмо Белинского Гоголем не было понятно и вообще не оказало серьезного влияния.

Гоголь в своем ответе не указывает на слабые места письма Белинского, а главным образом упирает на необразованность Белинского, на односторонность его ума. «Журнальные занятия выветривают душу, и вы замечаете, наконец, пустоту в себе. Вспомните, что вы учились кое-как, не кончили даже университетского курса. Вознаградите (это) чтением серьезных сочинений, а не современных брошюр, писанных разгоряченным (умом) возвращающих с прямого взгляда». Гоголь в этом письме приписывает известное стихотворение Полежаева — «Француз — дитя!» и т. д. Пушкину, а Белинского поучает: «Гнев отуманил глаза вам и ничего не дал вам увидеть в настоящем смысле. Блуждают кое-где блески правды посреди огромной кучи софизмов и необдуманых юношеских увлечений. Но какое невежество! Как дерзнуть с таким малым запасом сведений толковать о таких великих явлениях».

Почему не послал Гоголь этого письма? — потому ли, что понял его несостоятельность, или потому, что не нашел нужным отвечать невежественному, по его мнению, критику — мы, конечно, не знаем. Можно вполне согласиться с Шенроком, когда он говорит про письмо Белинского: «Нельзя не заметить, что это было единственное письмо, сильно подействовавшее на Гоголя, хотя не оставившее особенно глубоких следов» (IV, 538).

На Гоголя не подействовало даже то, что архиепископ Иннокентий, Белинский и С. Т. Аксаков были вполне согласны в том, что книга есть произведение неслыханной гордости человека; наибольшее значение для него имело теперь уже мнения о Матвее, потому что набожность Гоголя усиливалась по мере того, как болезнь ухудшалась, и он убеждался в бесполезности лечения.

Хлопоты о втором, без пропусков, издании «Выбранных мест», усиленная переписка по поводу этой книги несколько оживили Гоголя; дела отвлекали его внимание от болезни, так же как путешествие, и он меньше сосредоточивался на своих болезненных симптомах. В оживленной переписке редко проскальзывали жалобы. Гр. Толстому Гоголь пишет 6. II. 1847: «Недуг мой состоит в бессонницах, которые продолжаются уже два месяца, в расслаблении тела, в сыпях на ногах, но несмотря на все это, даже на волнения нервные, душа, по милости Божией, пребывает в спокойном равновесии. Самая смерть (Языкова) не произвела во мне тревожных чувств печали, но что-то неопределенное и как бы светлое. Как будто бы он для меня не умер».

Если действительно Гоголь хотя сколько-нибудь любил Языкова, то это равнодушие при вести о его смерти мы должны считать очень тяжелым симптомом; ослабление чувствований указывает на переход болезни в заключительный период, указывает на начинающийся распад душевной жизни. Весьма подозрительны в этом смысле грубое непонимание оскорбления, нанесенного Погодину, неисполненное обещание загладить свою вину и особенно крайне грубые выходки по отношению к кроткому и больному Иванову.

Сам Гоголь заметил в себе ослабление чувствований; он называет это черствостью. 2. XII. 1847 он пишет Шевыреву: «Но в груди моей равнодушно и черство, и меня устрашает мысль о затруднениях». Это притупление чувствований становится особенно ясно при сборах Гоголя в Иерусалим; долго он мечтал об этой поездке, возлагал на нее самые большие надежды, и в смысле

улучшения здоровья, и в смысле возвращения творческих сил, упадок которых больной поэт все же понимал. Он уже давно подготовлял себя к этой поездке, волновался при мысли о ней, настойчиво просил свою мать в письме от 14.XI.1846 г. не выезжать из Васильевки, пока он будет в дороге. «Мне нужно именно, чтобы вы молились обо мне именно в Васильевке, а не в другом месте. Кто захочет вас видеть, может к вам приехать. Отвечайте всем, что находите неприличным в то время, когда сын ваш отправился на такое святое поклонение, разъезжать по гостям и предаваться каким-либо развлечениям».

Собравшись ехать в Палестину, многострадальный поэт даже не испытывает удовольствия и желания; он откровенно пишет: «Не ехать же в Иерусалим как-то стало даже совестно» (7.XII.1847). То же он повторяет и в письме к Жуковскому от 22.XII.1847. Перед отъездом он пишет трогательное письмо матери, в котором жалуется, «что нет сил молиться самому»: «Силы мои как бы ослабели, сердце черство, малодушна душа» и просит служить за него молебны «во всех местах, где умеют лучше молиться», посылает 25 р. о. Матвеем «на три молебна» и 50 р. для раздачи «беднейшим»... «чтобы они помолились о здоровьи душевном и телесном»; просит всех знакомых молиться о нем по особой им составленной молитве «Боже, содейлай безопасным путь его...» и т. д.

Наиболее близкой теперь ему особе, А. М. Вьельгорской, Гоголь с Мальты 23.I.1848 пишет: «Несмотря на то, что далеко не в том состоянии души, в каком бы хотелось быть для путешествия, несмотря на всю черствость и прозу души своей, я все-таки благодарю Бога, что тронулся в дорогу»; также и в письме к Шевыреву от 25.I.1848 г. он называет свою душу «холодной» и «черствой». Проницательности Гоголя мы должны доверять, и потому несомненно, что уже в 1847 году начался распад душевной жизни гениального автора «Мертвых душ»; признаки этого распада стали очевидны в следующем периоде жизни Гоголя уже «всей Москве».

IX

С 1848 г. начинается последний, как верно его определяет Шенрок (IV, 744), «крайне однообразный и в сущности мало занимательный период» жизни Гоголя. Этот период характеризуется распадом душевной жизни; наконец, мы видим то состояние, которое является последствием продолжительной и тяжелой

душевной болезни, ее заключительным периодом. Если такое состояние развивается у обыкновенного человека, мы называем его вторичным или заключительным слабоумием, но мы не имеем права так назвать состояние Гоголя, установившееся в 1848 г. В самом деле, если душевная болезнь значительно ослабляет душевные силы, разрушает душевную жизнь, то остается так мало, что слабость ума или слабоумие бросаются в глаза. Если такое несчастье постигает очень даровитого человека, то остается все же больше, чем у неумных людей. Я слышал лекцию весьма известного ученого, страдавшего слабоумием; не зная его болезни, я был удивлен его плохой лекцией и не знал, чем объяснить, что лекция такого великого ученого ниже посредственных. Потом я узнал, в чем дело. Понятно, что гениальный, богато одаренный Гоголь даже в последнем периоде своей болезни превосходил своим умом обыкновенных смертных. Какие опустошения произвела болезнь, мы можем судить, сравнивая Гоголя 1838 и 1848 гг.; только при таком сравнении мы можем понять, насколько подвинулся процесс, насколько ослабели необычайные душевные силы Гоголя, насколько распалась некогда поразительно богатая душевная жизнь гениального сатирика.

И Сологуб, и Берг заметили даже физические признаки распада душевной жизни Гоголя; Сологуб заметил, что «тупо глядел на все окружающее его потускневший взор», «слова утратили свою неумолимую меткость»; этот знакомый Гоголя уже не сомневался, что он «очень болен», что у него «затемнение памяти»*.

По словам Берга**, от прежнего Гоголя оставались одни развалины, и его взор потерял «прежний огонь и быстроту».

Сам Гоголь ясно сознавал упадок физических и духовных сил, причем объяснял это печальное явление старостью, забывая, что нормальная старость приходит гораздо позже. Смирновой Гоголь 23. XII. 1850 пишет: «Мы, ведь, люди уже старые; что нам за рауты? Ведь старики, по настоящему, должны только глядеть друг на друга, да благодарить Бога за все». Ту же мысль Гоголь высказывал и в письме к Плетневу.

Как и всегда, Гоголь очень верно понимал состояние своего здоровья; у него, действительно, как то бывает у лиц с патологической организацией нервной системы, у вырождающихся, рано

* Воспоминания // Исторический Вестник. 1886 г.

** Русская Старина. 1872. I. 126.

наступил старческий распад душевных сил, или, как говорят, ранняя старость (*Senium praesox*). Все, что нам известно о состоянии его здоровья с 1848 г. по день смерти, правильнее всего считать *Senium praesox*. В этом может нас убедить описание и анализ этого состояния, насколько возможно на основании имеющихся у нас сведений.

Значительное ослабление душевных сил, так сказать, объективно проявляется в том, что за этот период переписка Гоголя очень сокращается. Он пишет лишь необходимые письма самым близким знакомым, и эти письма отличаются краткостью, мало интересны; больше всего в них говорит он о слабости своего здоровья и просит за себя молиться.

Гоголь сам отмечает эту печальную перемену, а 14.XII.1849 пишет Жуковскому: «Мне нужно большее усилие, чтобы написать не только письмо, но даже короткую записку. Что это? Старость или временное оцепенение сил? Сплю ли я или так сонно бодрствую, что бодрствование хуже сна?» Также весьма метко этот великий даже в последние годы своей жизни наблюдатель очертил свою неспособность к работе: «Не могу понять, что со мной делается. От преклонного ли возраста, действующего в нас вяло и лениво, от изнурительного ли болезненного состояния, от климата ли, производящего его, но я просто не успеваю ничего делать. Время летит так, как еще никогда не помню...» «Кажется, просидел за работой не больше как час, смотрю на часы — уже время обедать» (Письмо Плетневу от 21.I.1851).

Еще более откровенно говорит о своей ослабленной работоспособности Гоголь в письме к Смирновой от 18.VII.1850: «Ничего не могу написать начисто, ошибаюсь беспрестанно, пропускаю, не дописываю, приписываю, надписываю сверху, испорчу десть бумаги и ничего не сделаю».

Работа у Гоголя шла очень дурно, потому что у него ослабела высшая деятельность души — внимание, и произвольное мышление стало заменяться непроизвольным. Гоголь уже не мог, как прежде, управлять ходом своих мыслей, что он весьма ясно и описал о. Матвеем: «Далее мои мысли расхищаются, приходят в голову незванные, непрошенные гости и уносят помышления, Бог знает куда, Бог весть в какие места, прежде чем успеваю очнуться. Все как-то делается не вовремя: когда хочу думать об одном, думается о другом; когда думаю о другом, думается о третьем» (Письмо от 9.XI.1848). О весьма значительном ослаб-

лении внимания говорил Гоголь и Чижову (Шенрок, IV, 725): «У меня все расстроено внутри; я, например, вижу, что кто-нибудь спотыкнулся, тотчас же воображение за это ухватится, начнет развивать — и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы».

Из этих слов вообще крайне скрытного Гоголя трудно заключить, какие это были «призраки», его мучившие и даже не дававшие ему спать; были ли это навязчивые идеи или обманы чувств. Именно такие навязчивые идеи весьма нередки при психическом вырождении или дегенеративном помешательстве, и мне не раз приходилось наблюдать такие навязчивые идеи *, но призраками Гоголь мог назвать и галлюцинации.

Вообще, я не могу согласиться с д-ром Баженовым, категорически отрицающим галлюцинации у Гоголя; существование их не вполне доказано — это верно; но, зная, как некоторые больные упорно и ловко скрывают свои обманы чувств, я не решаюсь категорически ответить на вопрос, были ли у Гоголя обманы чувств? В самом деле, каким путем он делал свои душевные открытия? Каким путем он получал ответы на свои просьбы, когда находился в молитвенном экстазе? Каким путем он узнавал те, по его убеждению, истины, которые он проповедовал с такою самоуверенностью? О каких небесных минутах, перед которыми ничто всякое горе (Письмо к Жуковскому от 16.III.1847) говорит Гоголь, мы не знаем, но можно допускать, что именно это были минуты, когда его посещали небесные видения. Также нам непонятно, о каких «чудных явлениях» писал Гоголь 7.VIII.1841 Данилевскому, мы знаем, что свое выздоровление в 1840 г. Гоголь считал особо милостью Бога, как то считают в подобных случаях многие; но явления, о которых пишет Гоголь, были так чудны, что «Рим, как святыня, как свидетель чудных явлений, совершившихся надо мною, пребывает вечен». Никогда после Гоголь *так* не выражался о своих выздоровлениях; в том же письме, и это очень важно, Гоголь говорит, что «властью высшею облечено отныне мое слово». Должен же был Гоголь иметь материалы для таких заключений, а таким материалом могли быть только обманы чувств. К такому выводу нас приводит и то обстоятельство, что письмо писано в 1841 г., а по свидетельству Боткина, именно в 1840 г.

* Чиж В.Ф. Учебник психиатрии. 1902. С. 470.

были галлюцинации. С. Т. Аксаков * сообщает: «Но я слышал, что Гоголь во время болезни имел какие-то видения, о которых он тогда же рассказал ходившему за ним с братскою нежностью и заботою купцу Н. П. Боткину, который случился на то время в Риме». И С. Т. Аксаков, и Н. П. Боткин заслуживают полного доверия, и я даже не могу допустить, чтобы Н. П. Боткин солгал, т. е. сказал С. Т. Аксакову то, чего ему не говорил сам Гоголь, а С. Т. Аксаков перепутал; каждое слово его воспоминаний дышит правдивостью.

Поэтому сомнение д-ра Баженова в достоверности этого факта решительно ни на чем не основано, так же как и предположение, что галлюцинации были вызваны повышенной температурой, обусловленной римской малярией; нет ни малейшего основания говорить о малярии в 1840 г., так как Гоголь в 1840 г. заболел в Вене и поправился в Риме.

Предполагать галлюцинации у Гоголя даже в последние годы его жизни дает право следующий рассказ Кулиша. Когда в 1851 г. Гоголь гостил у Смирновой, «он в жары любил приходить в дом и садился на диван в глубине гостиной. Однажды хозяйка нашла его там в необыкновенном состоянии. Он держал в руке Чети-Миней и смотрел сквозь отворенное окно в поле. Глаза его были какие-то восторженные, лицо оживлено чувством высокого удовольствия: он как будто видел перед собой что-то восхитительное. Когда А. О. заговорила с ним, он как будто изумился, что слышит ее голос и с каким-то смущением отвечал ей, что читает житие какого-то святого» **. Конечно, и эта сцена, — а достоверность рассказа не опровергнута, — не доказывает вполне, что у Гоголя в доме Смирновой была галлюцинация, но более чем вероятно, что Смирнова видела галлюцинирующего Гоголя и что у него были зрительные галлюцинации. Так как Смирнова не видела галлюцинантов, была, как дама истерическая, очень восприимчива, то, право, трудно даже допустить, чтобы она неверно передала виденное ею. Я сам не доверяю многим воспоминаниям Смирновой, но это воспоминание правдиво именно потому, что если бы Смирнова что-либо тут добавила от себя, рассказ не был бы так правдоподобен; читая эту сцену, прямо припоминаешь больных галлюцинантов, которых приходи-

* Op. cit. С. 46.

** Записки о жизни Гоголя. Т. II. С. 252.

лось наблюдать. Восторженное выражение лица, устремленные в определенную точку глаза, изумление и смущение Гоголя — все это очень характерно именно для галлюцинанта.

Поэтому, не настаивая, что у Гоголя были обманы чувств, я допускаю их существование; такое допущение объясняет нам очень многое в болезни и поведении Гоголя с 1840 г.

Я понимаю, что спор о том, были ли у Гоголя галлюцинации, не имеет значения уже потому, что мы никогда не добудем бесспорных доказательств для его разрешения, но весьма важно установить, что вся картина его болезни не вмещается в рамки периодической меланхолии, что болезнь его очень сложна, и по всей вероятности одним из ее симптомов были обманы чувств, объясняющие нам и проповедничество Гоголя, и его высокомерие, достигшее крайних пределов после 1840 г. Так как весьма вероятно, что Гоголь страдал обманами чувств, то вся картина его болезни и все его поведение нам понятны, за исключением ухудшения 1845 г.

Возвращаясь к ослаблению внимания в последнем периоде жизни Гоголя, необходимо прибавить, что параллельно с ослаблением внимания, как это всегда бывает, у больного ослабевала и воля. Гоголь вообще обладал сильной волей, редкой самостоятельностью и значительной настойчивостью. В борьбе с придирками цензуры по поводу «Мертвых душ» Гоголь проявил удивительную энергию и большую находчивость. Те же качества своей необычайно богатой натуры он проявил и при искании кафедры, в снискивании себе средств к жизни; можно лишь удивляться настойчивости, с которой он завоевал себе исключительное положение в высшем свете.

С 1848 г. он уже плывет по течению, у него нет определенных планов: то он хочет поехать по России, то жить зимой в Крыму, то ехать в Иерусалим, то ехать в Грецию, то наконец поселиться на Афонской горе, а живет то в Москве, то в Одессе, в которую он приехал, чтобы ехать в Грецию, то у знакомых, его приглашающих. Он даже не сумел выхлопотать себе заграничного паспорта, просит «совета» у гр. Орлова или министра внутренних дел, нерешительно начинает хлопоты о пособии и в конце концов живет со дня на день, как придется.

Никаких определенных целей и желаний у Гоголя теперь уже нет; он сознает, что зимой ему в Москве жить не следует, но тем не менее остается жить в Москве. Вообще, Гоголь проявляет несвойственную ему прежде пассивность, и можно думать,

что в Москве он живет потому, что там его с полным комфортом устроил у себя гр. Толстой.

Это ослабление воли проявляется в капризном и причудливом поведении Гоголя; как нам рассказывают очевидцы⁷, особенно Берг, обладавший трезвым умом, Гоголь уже ничуть не беспокоил себя соблюдением самых элементарных требований общежития. Арнольди утверждает, что «бесцеремонность Гоголя бросалась в глаза»*, Данилевский рассказывает, что когда Гоголь был у него в Киеве, к Данилевским собрались профессора и представители киевской интеллигенции с исключительной целью познакомиться с автором «Мертвых душ», Гоголь скрылся из дома Данилевского, чем, конечно, очень огорчил своего «друга». Берг рассказывает: «Шевырев жаловался мне, что он принимает самых ближайших к нему *чересчур по-царски*; что свидания их стали похожи на аудиенции. Через минуту после двух-трех слов уж он дремлет и протягивает руку: извини! Дремлется что-то. А когда гость уезжал, Гоголь вскакивал с дивана и начинал ходить по комнате»**. Как слышал Шенрок (IV, 757) от Бартенева, Гоголь так держал себя у Хомяковых: «Он капризничал невероятно, приказывая по несколько раз то приносить, то уносить какой-нибудь стакан чая, который никак не могли ему налить по вкусу; чай оказывался то слишком горячим, то крепким, то чересчур разбавленным, то стакан был слишком полон, то, напротив, Гоголя сердило, что налито слишком мало». «В разговорах, как мы слышали из разных источников, Гоголь часто не принимал участия, молча и презрительно поглядывая на собеседников». По словам Берга: «Появление его (Гоголя) на вечере, иной раз нарочно для него устроенном, было почти всегда минутное. Пробежит по комнатам, взглянет, посидит где-нибудь на диване, большею частью совершенно один; скажет с иным приятелем два-три слова из благоприличия, небрежно, Бог весть, где витая в то время своими мыслями, и был таков».

Конечно, с людьми, умевшими его сдерживать и ему нужными, Гоголь держал себя иначе, и когда Базили, чтобы поддержать свой престиж перед арабами, осадил его, Гоголь прекратил капризы и неприличные выходки.

В хорошем расположении духа Гоголь был любезен, разговорчив, шутил, пел песни и т. п.; одним словом, он делал то, что ему

* Op. cit. С. 83.

** Op. cit. С. 127.

нравилось, не имея уже сил сдерживать себя перед «существователями», хотя бы и оказавшими ему много услуг, напр., перед Шевыревым. Ведь и прежде Гоголь свысока относился ко всем, кроме лиц, на него смотревших как на оракула, и, конечно, «властей предержавших», но все же имел достаточно воли, чтобы сдерживать себя в границах приличия; теперь, с ослаблением воли, он вполне руководился своим настроением, делал то, что ему нравилось.

Так как настроение Гоголя было неустойчиво, зависело в высшей степени от внешних обстоятельств, то и в поведении его были большие колебания, удивлявшие его знакомых. В дороге он обыкновенно был весел и благодушен; когда чувствовал себя плохо, то не мог владеть собою при малейшей неприятности. Так, Арсеньев рассказывает, что когда Капнист бывшего у него в гостях Гоголя знакомил с приехавшим М. Н. Муравьевым: «Рекомендую вам моего доброго знакомого, хохла, как и я, Гоголя», великий сатирик так рассердился на эту «непрощенную» (по выражению Гоголя) рекомендацию, что сказал дерзость Муравьеву и, «ни с кем не простившись, тотчас же уехал». Гоголь, конечно, и в последнем периоде жизни был достаточно умен для того, чтобы понимать, насколько самодурство унижает человеческое достоинство.

Чувствования также ослабели в этом периоде болезни Гоголя; едва ли можно сомневаться в ослаблении у него эстетических чувствований, когда он решил исключить «Вечера» из подготавливаемого им издания своих сочинений: «Много в них незрелого», — отвечал спокойно Гоголь Бодянскому, когда тот убеждал его не посягать «на одно из самых свежих произведений своих» (Шенрок, IV, 815—816). Набожность, усиливавшаяся в Гоголе, конечно, не могла подвинуть на такое решение.

Сестра гениального писателя поразила равнодушием Гоголя к семье и к Васильевке, когда он посетил их в 1848 году. В своем дневнике Е. В. Гоголь отметила уже в день приезда «такой холодный и равнодушный к нам»; на следующий день «все утро мы не виделись с братом! Грустно: не виделись шесть лет и не сидит с нами»; на четвертый день «брат все такой же холодный, серьезный».

Эту холодность или черствость замечал в себе и Гоголь; в Иерусалиме он уже убедился, что «никогда еще так ощутительно не виделась мне моя бесчувственность, черствость и деревянность». На ту же черствость сердца жалуется многострадальный поэт

и в письме к Жуковскому от 28.II.1850 года, в котором, по его настоятельной просьбе, передает свои впечатления Палестины. Гоголь настаивает, что он уже утратил и яркость восприятия, и живость чувствований. «Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? Видел я, как во сне, эту землю»... «Как сквозь сон видится мне самый Иерусалим»... «Никаких других видов, особенно поразивших, не вынесла сонная душа»*.

Наконец, значительным ослаблением чувствований и вообще прогрессирующим распадом душевной жизни можно объяснить удивительное сватовство гениального сатирика к А. М. Вельгорской. Шенрок доказал, что оно было в 1850 году, то есть когда духовные силы Гоголя ослабели уже в значительной степени; такое сватовство едва ли было возможно в 1848 г.

Прежде всего следует отметить, что Гоголь, удивительно понимавшей людей, прежде никогда не сделал бы такой попытки просто потому, что вполне ясно предвидел бы, что он получит отказ, что такой брак невозможен. Теперь же он сам поставил себя в положение крайне тяжелое, особенно для самолюбивого, преисполненного высокомерия человека.

Так же прежде Гоголь не решился бы свататься к молодой девушке, так как знал, что ему нужна не жена, а ученица и сиделка; уж очень жестоко загубить чужую жизнь, а, конечно, если бы А. М. приняла предложение Гоголя, то ее участь была бы крайне печальная. Нельзя также забывать, что у Гоголя именно в то время не было никаких средств и, следовательно, он думал жить на средства жены или ничего не думал об этой стороне дела.

Шенрок (IV, 737) говорит: «Это увлечение его могло быть только болезненной вспышкой фальшивого огня»; действительно, такая болезненная вспышка фальшивого огня бывает иногда при старческом распаде душевной жизни; увы, случилось это и с гениальным сатириком. Кто не слыхал об удивительных браках дряхлых стариков; болезненная вспышка уже потухающего огня толкает таких больных в объятия самых грязных эгоисток. Нельзя отрицать, что предложение великим сатириком было сделано отчасти вследствие такой вспышки; может быть, и тут некоторую

* Матвеев (Русская Старина. 1903. Т. II. С. 301) находит, что художественность описания Палестины в этом письме показывает неосновательность мнения об упадке творчества Гоголя в последние годы его жизни. Еще одно доказательство того, что, где замешаны политические симпатии, спор бесполезен.

роль играла последняя вспышка перед окончательным угасанием всегда крайне слабого полового чувствования, хотя, несомненно, симпатия к А. М. главным образом была обусловлена полной преданностью графини Гоголю. Ослабление высших нравственных чувствований лишило Гоголя возможности критически отнестись к своему намерению, подавить в себе желание устроиться вместе с преданной и симпатичной ему ученицей.

Я не думаю, чтобы у Гоголя было настоящее ослабление памяти; его жалоба на «начинающую тупеть память» (Письмо к Маркевичу от 6.XII.1849) может быть просто преувеличением ипохондрика. Более имеет значения заявление Гоголя в письме к Плетневу от 7.VI.1848: «Я начинаю позабывать порядок дел моих», особенно потому что Гоголь прежде отличался удивительной памятью и всегда прекрасно помнил все свои дела, но и это заявление не имеет решающего характера, и потому более вероятно, что память гениального сатирика не пострадала.

Жалобы Гоголя на бедность мыслей не прекращаются в письмах за этот период; 14.IV.1848 он пишет Шевыреву: «Ничего не мыслится и не пишется; голова тупа»; 3.IV.1849 Жуковскому: «Нашло на меня такое оцепенение»; 28.XI.1849 Смирновой: «У меня все лениво и сонно. Работа движется медленно»; Смирновой 18.VII.1850: «Я нахожусь в каком-то нравственном бессилии». Особенную грусть вызывает жалоба Гоголя: «Бедная моя голова... Трудно, трудно бывает мне» (Письмо к матери от 2.IX.1851). Как ни притупляются нервы при чтении исполненных однообразных жалоб писем Гоголя, но чтение этих ужасных строк вызывает крайне тяжелое чувство; это стон исстрадавшегося, измученного человека. Несчастный гениальный поэт просит мать: «Молитесь обо мне, добрейшая моя, родная душе, моя матушка. Часто мне бывает трудно, очень, очень трудно».

Распад душевной жизни великого писателя выражался и ослаблением умственных интересов; Гоголь всегда жил напряженной умственной жизнью, всегда у него были серьезные интересы; теперь же он сам замечает, что его ничего не интересует: «Не могу понять, отчего не пишется и отчего не хочется говорить ни о чем. Может быть, оттого, что не стало, наконец, ничего любопытного на свете. Нет известий». Это писал Гоголь 3.IV.1849, то есть когда совершались великие исторические события. Действительно, новых мыслей Гоголь уже не высказывает, если не считать интереса к «Домострою», поучениями которого он увлекался.

Гоголь, как это нередко бывает со стариками, возмущается своим временем, оно кажется ему особенно греховным, развратным; все, по его мнению, идет дурно. В письме А. М. Вьельгорской (1848) он пишет, что живет «среди явлений потрясающих», «посреди потрясающей бестолковщины». Данилевскому 24.VIII.1848: «Никто не может вынести страшной тоски этого рокового переходного времени и почти у всякого ночь и тьма вокруг». Данилевскому 24.X.1848 Гоголь пишет: «Я теперь серьезно задумался о том, служить ли тебе, добиваться ли места в нынешнее время, когда все так неверно, когда завтра не знаешь, что будет». Рано состарившийся Гоголь думает, что «теперь время лжей и слухов (Письмо к матери 24.V.1850), «что брак теперь не есть пристроение к месту. Только и слышишь теперь раздоры между родителями и детьми, только и слышишь о том, что нечем вскормить, не на что воспитать, некуда пристроить детей. И как вспомнишь, сколько в последнее время дотоле хороших людей сделались ворами и грабителями... Будущее не верно» (Письмо к матери 5.VII.1851). Наконец, он пугает мать, «что (с) каждым годом будет затруднительнее достать место, труднее воспитывать детей, бедственней всем, имеющим семейство». Эти совсем уж старческие мысли сопровождаются характерными для стариков советами: Гоголь советует бережливость, запасливость.

Идеи величия, выступавшие на первый план в предыдущем периоде, теперь только иногда проскальзывают в письмах Гоголя; он еще дает советы, но уже в скромной форме, присоединяет к ним просьбу, в своем духовном завещании он поучает друзей, а матери и сестрам приказывает: «По кончине моей никто из них уже не имеет права принадлежать себе, но — всем тоскующим».

При сравнении с письмами предыдущего периода несомненно, что идеи величия отступили на второй план, что Гоголя эти идеи мало интересовали, мало занимали, что он едва ли был теперь убежден в том, что его слово облечено высшей властью. Правда, в его поведении были видны идеи величия; иначе нельзя объяснить ужасного высокомерия, оскорблявшего даже поклонников великого поэта. Но мы знаем, что отступившие на задний план идеи величия еще долго проявляются в поведении больных, в манере себя держать, может быть, тут имеет значение привычка. Особенно бросается в глаза несоответствие между содержанием сознания и поведением при распаде душевной жизни. Бывшие галлюцинации, давно забытые идеи бреда нередко мы можем

узнать именно по манере себя держать, по поведению больного. Ведь и многострадальный Гоголь в последнем периоде своей жизни ничем не мотивировал, ничем не оправдывал своего высокомерного, исполненного презрения ко всем существователям поведения. Напротив, Гоголь постоянно толковал о необходимости смирения, о своей греховности, своей неспособности работать, просил всех за себя молиться, заказывал молебны. Ведь очевидно, что поведение его не соответствовало содержанию сознания в данное время, но соответствовало содержанию сознанию предшествовавшего периода, когда на первом плане были идеи величия.

Уже это несоответствие между содержанием сознания и поведением указывает на значительный распад душевной жизни; ведь не нужно обладать даже выдающимся умом Гоголя, чтобы понять, что такое поведение недостойно грешного, сознающего свое несовершенство человека, и если бы в последний период своей жизни он обладал всеми своими богатыми способностями, он и держал бы себя, как кроткий, сознающий свою греховность человек, стремящийся к совершенствованию. Ведь он видел, как держал себя гр. Толстой, как прост и непритязателен был этот его друг. Арнольд категорически утверждает, что Гоголь имел «странную претензию знать все лучше других».

Гоголь в последние годы своей жизни много думал о своей греховности, о своей неспособности даже молиться и больше всего боялся смерти. Мы не знаем, какие именно грехи приписывал себе Гоголь, но его отчаяние, его постоянный страх перед смертью, его возрастающая набожность — все это нередко наблюдается именно у стариков, и притом у лиц, у которых старость наступила рано. Кто не знал стариков, бурно проживших жизнь, постоянно твердящих о своих грехах и о грядущем возмездии, постоянно боящихся смерти, заказывающих молебны, ставящих свечи, кладущих земные поклоны. Обыкновенно такие лица в течение своей жизни были вполне индифферентны к вере, смеялись над «попами», рассказывали непечатные анекдоты о монахах и т. п. Когда же наступает старость, и, как я многократно убеждался, перерождение сердца и сосудов достигают значительной степени, тогда сознание своего бессилия вместе с безотчетным страхом порождает у этих лиц идеи греховности, боязнь за будущее; они ищут, но — увы! — не находят себе утешения в молитве, посте, соблюдении тех предписаний Церкви, которых прежде не исполняли.

Так как процесс идет вперед и страх смерти усиливается, то они просят молиться за себя других, заказывают молебны, жертвуют на богоугодные учреждения и т. д. Известно, что католические монахи и монахини умело эксплуатировали в свою пользу этот страх больных и отлично обделывали свои дела.

Такое же настроение и такие же мысли были у Гоголя в последнем периоде его многотрадальной жизни. Старческий распад душевных сил, ранняя физическая дряхлость проявлялись ничем не обоснованным страхом; он боялся загробной жизни, боялся и смерти, тяготился и жизнью. Действительно, к жизни его уже ничто не привязывает, и она ему в тягость; ему уж «не люб» тот почет, каким он окружен; слава величайшего художника его не радует, так как он даже сомневается в полезности своих художественных произведений; он никого и ничего не любит. Он то принимается за продолжение «Мертвых душ», то мечтает составить географию России, начертанную сильным живым словом, но жестокая к нему судьба еще сохранила ему способности настолько, что в лучшие свои минуты он сознает свое бессилие, сознает, что его гений уже угас.

Как ни тяжела была жизнь несчастному поэту, он боится смерти, и этот страх, крайне мучительный, не покидает его. Путешествие в Иерусалим, посещение Оптиной Пустыни, молитвы о Матвее, матери — все это ничуть не успокаивает Гоголя, потому что процесс идет вперед. Нельзя без волнения читать его письма к матери, в которых он все горячее и настойчивее умоляет ее молиться за него. В конце 1851 г. он ей пишет письмо в несколько строчек, состоящее из горячей просьбы молиться за него: «Никогда так не чувствовал потребности молитв ваших, добрейшая моя матушка. О, молитесь, чтобы Бог меня помиловал» ... «Ваши постоянные молитвы обо мне так теперь мне нужны, так нужны — вот все, что умею вам сказать! О, да поможет вам Бог обо мне молиться». Бросается в глаза, что дряхлеющий и телом, и душой поэт просит молиться только о себе, сам молится только о себе и ни о чем другом, как и все больные; он не беспокоится о спасении своих родных, своих друзей; он весь поглощен страхом грядущего возмездия и страхом смерти. Конечно, все люди, в большей или меньшей степени, боятся смерти, боятся грядущего возмездия или, по крайней мере, неизвестности, но *hic modus in rebus*. Только больные и чаще всего больные старики так боятся смерти и грядущего возмездия, как боялся Гоголь в последние годы своей жизни.

Распад душевных сил, прогрессируя, увеличивалась и набожность Гоголя, когда он чувствовал себя лучше, он меньше боялся смерти, не так настойчиво просил молиться за себя. Я уже говорил, что у постели больных, я часто видел набожность людей, даже не религиозных, под влиянием страха смерти исполняющих предписания церкви. По выздоровлении набожность исчезает, прекращается хождение в церковь, соблюдение постов; молебны больше не заказываются, свечи не ставятся, больному хуже, опять он становится набожным. Истинно религиозные люди не боятся расстаться с этим миром, с теплой верой ожидают жизни, идеже несть ни печали, ни воздыхания.

Во всяком случае набожность Гоголя ничуть не превышала набожности очень, очень многих больных и дряхлых стариков, она обращала на себя внимание, потому что Гоголь был еще молод, а в его годы действительно такая набожность наблюдается редко.

Гоголь и в последние годы своей жизни не был аскетом и мистиком. Он пользовался всеми доступными ему благами жизни, когда гостил у Смирновых, даже одевался франтовато, хотя крайне безвкусно, держал особого слугу; одним словом, жил так, как жили богатые люди. Едва ли верно, что все его имущество помещалось в чемодане и портфеле, так как у него было много книг духовного содержания. Впрочем, ему и не было надобности заботиться о житейских удобствах, так как вообще эти крайне неприятные хлопоты он возложил на своих друзей. Я вполне согласен с д-ром Баженовым, что о мистицизме Гоголя не может быть и речи; ведь с таким же правом нам пришлось бы считать мистиками и замоскворецких купчих. Настоящие мистики меньше всего хлопотали об излечении своих недугов; они преследовали более возвышенные цели, с вполне бескорыстной любовью их душа стремилась к Вечному; они старались постигнуть тайны не для того, чтобы выздороветь от болезни: они не боялись смерти, напротив, земное существование для них не имело особой цены. Можно лишь удивляться, как создалась и как удержалась легенда о мистицизме Гоголя; даже досадно, что на это заблуждение указал Мельхиор де Вогюэ, хотя еще Белинский вполне верно и весьма ясно указывал на источник или причину набожности Гоголя: «Болезненной боязнью смерти, чёрта и ада веет от вашей книги» *.

* Барсуков. Т. 8. С. 605.

<...>

Я считаю совершенно неправильным мнение о большом и вредном влиянии на Гоголя о. Матвея Константиновского; этот почтенный священник не имел и не мог иметь влияния на Гоголя, вообще никогда не подпадавшего чужому влиянию. Уже в 1845 г. Гоголь просил Смирнову: «Отправьте молебен о моем выздоровлении и попросите помолиться обо мне того из служителей Божиих, чьи молитвы доступнее и действительнее». Смирновой не удалось найти священника, молитвы которого «действительнее»; Гоголь хворал по-прежнему и сам искал такого священника в надежде выздоровления. Толстой указал ему на известного благочестием О. Матвея, и Гоголь, полагая, что он нашел священника, молитвы которого «доступнее и действительнее», вступает в переписку с О. Матвеем, 12.XII.1847 г. он посылает ему 50 руб. для раздачи «беднейшим, какие вам встретятся, прося их, чтобы помолились они о здравьи душевном и телесном того, который от искреннего желания помочь дал им деньги». «25 руб. назначаю на три молебна о моем путешествии и благополучном возвращении в Россию, которые умоляю вас отслужить в продолжение Великого поста и после Пасхи, как вам удобнее». Скоро, однако, Гоголь мог убедиться, что молитвы о. Матвея не «действительнее» молитв тех, кого он раньше просил за себя молиться: здоровье не улучшилось, и потому ни особого доверия, ни особого почтения к о. Матвею он питать не мог. Что о. Матвей никакого влияния на Гоголя не имел, доказывается с очевидностью тем, что никакого изменения в образе жизни, поведении и занятиях Гоголя со времени сближения с о. Матвеем не последовало. Гоголь после сближения с о. Матвеем жил совершенно так же, как и раньше, т. е. с полным комфортом, работал над «Мертвыми душами», читал актерам «Ревизора» и т. п. Едва ли о. Матвей одобрял то высокомерие, с каким Гоголь держал себя, не советовал ему быть внимательнее к родным и знакомым. Правда, Гоголь заезжал в Оптину Пустынь, но ведь всякий мало-мальски религиозный человек посещает монастыри; и в Оптиной Пустыни Гоголь искал монахов, молитвы которых «доступнее и действительнее». О. Матвей не мог иметь влияния на Гоголя, во-первых, потому что не помог многострадальному поэту, во-вторых, потому, что, насколько нам известно о почтенном о. Матвее, он заботился о спасении души, а больной поэт о своем здоровье. Как истинно религиозный человек, о. Матвей преследовал совсем не те цели,

понимал религию совсем не так, как больной поэт. Мы, конечно, не знаем с точностью чему поучал Гоголя о. Матвей, но все, что нам известно об этом священнике, дает нам право думать, что он был глубоко религиозный человек, и потому его влияние должно было быть благотворно. К сожалению, больной поэт уже не мог находить утешения и поддержки в религии, и потому поучения о. Матвея не приносили ему ни утешения, ни поддержки и даже его расстраивали. В этом мы не можем обвинять о. Матвея; возможно, что он как человек малообразованный мало понимал Гоголя, но ведь религиозного утешения не мог дать больному поэту ни один священник, ни один монах, и Гоголь напрасно искал священников, «чьи молитвы доступнее и действительнее». Едва ли требования о. Матвея были крайне строги и неразумны; по крайней мере, его друг А. Толстой, во время болезни Гоголя, держал себя как истинно религиозный человек. Этот добрый друг Гоголя не только приглашал к нему врачей и употреблял все средства, чтобы больной кушал, но прекратил у себя богослужения, чтобы не обременять Гоголя хождением по лестнице, утешал Гоголя, когда тот скорбел о сожжении рукописей. Ни о каком изуверстве тут и речи быть не может, и потому странно говорить о вредном влиянии о. Матвея на Гоголя, когда даже на Толстого такого влияния не было. Если бы о. Матвей имел влияние на Гоголя, многострадальный поэт меньше бы страдал в последние годы своей жизни, был бы скромнее и добрее, не мучился бы страхом загробной жизни. Я наблюдал влияние на больных лютеран фанатичных проповедников; оно всегда бывает крайне непродолжительно и поверхностно; сначала обычно бывает увлечение и даже полное подчинение, но так как фанатики стремятся спасти душу, а больной желает выздороветь, то скоро наступает разочарование.

<...>

XI

Последние дни жизни многострадального поэта описаны так неясно и сбивчиво, что нам совершенно неизвестно, отчего собственно умер Гоголь. Поэтому о болезни, сведшей в могилу нашего гениального сатирика, мы не можем сказать ничего определенного, да в сущности никакого особого значения ни для уяснения личности и деятельности Гоголя, ни в медицинском отношении сам по себе

вопрос — от какой болезни умер Гоголь, конечно, не имеет. Однако необходимо сказать несколько слов и о последней болезни Гоголя для выяснения некоторых недоразумений и неправильных взглядов.

В последнем периоде своей жизни Гоголь, по-видимому, не перенес острых заболеваний; общий распад физических и душевных сил прогрессировал медленно и непрерывно, но толчков или обострений в течении болезни не было. По крайней мере, никто из друзей Гоголя не заметил каких-либо резких колебаний в течении болезни. Зимой он чувствовал себя хуже, летом несколько лучше; хотя Гоголь неоднократно утверждал, что для его организма необходимо «*ненагретое тепло*», прогулки «на благотворенном воздухе», однако такой зябкости, как в 1845 г., не было. Вообще, поскольку можно судить по его письмам, каких-либо значительных обострений или ухудшений у Гоголя за эти годы не было. Так как Гоголь чувствовал себя нехорошо в течение двух зим, проведенных в Москве, зиму 1850—1851 гг. он провел в Одессе, последнюю же зиму своей жизни проводил в Москве, так как, вследствие уже значительного ослабления воли, остался в этом городе. Знакомые Гоголя передают, что эту зиму Гоголь выглядел хорошо и даже был весел; действительно, в феврале 1852 г., за девять дней до Масляной, он «в следующее воскресенье» собирался у Кушелева слушать малороссийские песни. Доктор Тарасенков уверяет даже, что за месяц до смерти Гоголь «был цветущего здоровья, бодр, свеж, крепок». (Шенрок IV, 856). Но едва ли мы можем верить заявлению Тарасенкова; он или плохо наблюдал, или позабыл виденное и потому вообще его воспоминания не могут считаться очень точными. Отчаянное письмо к матери, писанное в конце 1851 г., а также и письмо от 2. II. 1852 г. ясно свидетельствуют, что Гоголь не был «бодр, свеж и крепок». В последнем письме к матери он уже просит молиться об его выздоровлении «соединенно, во взаимной между собою любви крепкой, без которой не приемлется от нас молитва. Еще раз обнимаю вас и прошу вас сильно, сильно обо мне молиться». Что Гоголь в феврале 1852 г. совсем не был «бодр, свеж и крепок», можно судить и по следующему обстоятельству: в первых числах февраля приезжал в Москву о. Матвей и поучал Гоголя, причем так перепугал его Страшным судом, что несчастный поэт прервал его речь словами: «Довольно, оставьте меня! не могу более слушать! слишком страшно». 6. II. 1852 г. Гоголь письменно извинился перед о. Матвеем. Он уже давно боялся смерти и ада, и Арнольди говорит: «Все знают, как Гоголь боялся

смерти и ада и как эта мысль постоянно была для него причиной невыразимых страданий». О. Матвей, конечно, и раньше многократно пугал ответственностью на страшном суде, обличал в грехах, требовал соблюдения всех предписаний Церкви. Почему же раньше поучения о. Матвея не производили такого угнетающего действия на несчастного поэта, почему именно теперь эти поучения так потрясли его, что он «не владел собою», просил прекратить истязание. С большим правом следует допустить, что в феврале Гоголь больше чем когда-либо испугался смерти и ада, потому что состояние здоровья его было хуже.

Есть сведение, что за несколько дней до смерти у Гоголя появилась течь из уха, которую некоторые врачи, по словам Тарасенкова, могут почитать имеющую связь с его последней болезнью. Однако Тарасенков, со слов Гоголя, передает, что у него была течь из уха «прежде сего за год будто бы от какой-то вещи, туда запавшей». Очень жаль, что Тарасенков, так не скупившийся на упреки товарищам, поточнее не выяснил, когда именно была течь из уха и какого она была происхождения. Если действительно течь появилась незадолго до последней болезни Гоголя, то ее, конечно, можно ставить в связь с этой болезнью, особенно если мы припомним, что Гоголь и в детстве имел течь из уха, что отец его умер от чахотки. Так как Тарасенков не выяснил нам этого весьма важного обстоятельства в последней болезни Гоголя, то все его воспоминания не разъясняют нам истории болезни.

Смерть Языковой угнетающе подействовала на Гоголя; повторилось то же, что наблюдал Анненков в 1841 г.; так же, как и тогда, Гоголь на похороны не пришел. Он, как и многие старые люди, так страшился смерти и ада, что боялся покойников; кто не знал стариков и старух, в присутствии которых их близкие не говорят о смерти, не вспоминают об умерших друзьях. Конечно, это вызванное смертью Хомяковой волнение скоро улеглось, и Гоголь после того, как отслужил панихиду по покойнице, «сделался спокоен, как-то светел духом, почти весел». В понедельник на Масляной В. С. Аксакова заметила, что «в нем было видно несколько утомление»; Гоголь «сказал, что скоро уйдет, что должен лечь раньше, потому что чувствовал какой-то холод ночью, который его, впрочем, не беспокоил. Мы сказали: это нервный! Да, нервный, сказал он совершенно спокойно» *. «В среду навестили; он сказал,

* С. Т. Аксаков *op. cit.*; воспоминания Веры Сергеевны Аксаковой.

что не совсем хорошо себя чувствует». Это более похоже на начинающееся соматическое заболевание. Почувствовав себя хуже, Гоголь решил говеть; в четверг причащался; во время говения питался просфорой, а за обедом употреблял только несколько ложек овсяного супа на воде или капустного рассола. Причащение не успокоило Гоголя. Тарасенков точно не определяет, когда именно ездил Гоголь в Преображенскую больницу, где долго ходил взад и вперед; он долго оставался в поле, на ветру, в снегу, стоя на одном месте и, не входя в дверь, уехал домой. Д-р Баженов считает невероятным, что Гоголь ездил с целью посоветоваться с известным юродивым Ив. Яковл. Корейшею, так как не допускает, чтобы Гоголь был «склонен к столь грубым предрассудкам». Я помню лиц далеко не столь суеверных, как Гоголь, посещавших Корейшу, просивших его молиться за них. Впрочем, не имеет значения, зачем ездил Гоголь в Преображенскую больницу, а важно, что поездка эта могла неблагоприятно повлиять на уже начавшуюся его болезнь.

В напечатанных воспоминаниях Тарасенкова* в «ночь пятницы на субботу» на Масляной, а в приводимой Шенроком (IV, стр. 853) рукописи «в один из этих дней», «Гоголь изнеможенный уснул ночью на диване, без постели, и с ним произошло что-то необыкновенное, загадочное, проснувшись вдруг послал он за приходским священником, объяснив ему, что он недоволен недавним причащением и просил его тотчас же опять причащать и соборовать его, потому что он видел себя мертвым, слышал какие-то голоса и теперь почитает себя умирающим». Этот эпизод описывается в рукописи иначе (Шенрок IV, 849). «В ночь с пятницы на субботу, после говения, он молился усерднее обыкновенного и, стоя на коленях перед образом, услышал голоса, которые говорили ему, что он умрет». Берг** слышал от Овера, что Гоголь говорил этому врачу: «Я уже слышал голоса». Д-р Баженов не доверяет воспоминаниям Берга и Тарасенкова, потому что они подрывают заключение д-ра Баженова о предсмертной болезни Гоголя, но мне кажется, что было бы правильнее, принимая во внимание сказанное Овером и Тарасенковым, отказаться от диагноза д-ра Баженова.

Гоголя лечили лучшие врачи того времени: Варвинский, Иноземцев, Овер, Клименков, Сокологорский, Тарасенков и Эвениус⁸.

* Отечес<твенные> Записки. 1856; XII, стр. 408.

** Op. cit. С. 127.

Тарасенков описывает болезнь Гоголя так, что решительно непонятно, чем же собственно страдал Гоголь; этот врач первый раз увидел больного в субботу на первой неделе, а в ночь со среды на четверг (21. II) второй недели Великого поста гениальный писатель скончался. Ввиду того, что Тарасенков посещал больного лишь в последние дни болезни, он и не мог сам изучить предсмертную болезнь великого поэта. Тарасенков не мог объективно наблюдать и потому, что он был крайне взволнован, за что, конечно, его нельзя упрекнуть. Жаль, что Тарасенков не сообщил нам мнения о болезни Гоголя лечивших его врачей, и едва ли можно одобрить то высокомерие, с которым он отнесся к суждениям более его сведущих товарищей; к сожалению, такое отношение явление не редкое.

Тарасенков сообщает, что последние дни своей болезни Гоголь очень мало ел; вместе со священником он кушал саго и чернослив, а накануне смерти ему давали пить бульон; следовательно, едва ли можно допускать, что Гоголь умер от истощения. Гоголь последние дни своей жизни не совершал движений, что, конечно, предохраняло его от быстрого истощения вследствие крайне недостаточного питания. Вообще, странно говорить, что Гоголь, хотя очень мало, но все же кушавший, умер от голода, когда экспериментально доказано, что человек может до сорока дней оставаться без пищи.

Последние дни своей жизни Гоголь невыразимо мучился страхом смерти и ада; он страдал ужасно, с невыразимым страхом ждал смерти и даже, по всей вероятности, желал, чтобы ужасная для него минута настала скорее. Шенрок (IV, 858) вполне верно говорит: «Психически вполне объяснимо желание поскорее подвергнуться опасности именно вследствие внушаемого его беспредельного ужаса». Действительно, некоторые больные, под влиянием этого страха, покушаются на самоубийство. Я живо помню то поистине неопишное страдание, которое переживали мои пациенты, ужасно боявшиеся смерти; страх смерти это одно из самых ужасных мучений. Гоголь не мог думать о самоубийстве, но он не желал лечиться, сопротивлялся, когда оказывали ему пособия: он хотел, чтобы его мучения кончились скорее. Как ни горячо молился несчастный Гоголь, молитвы не успокаивали его. Конечно, утешения и убеждения почтенных пастырей Церкви и Толстого также не облегчали страданий Гоголя; увы, мы знаем, что слова, самые лучшие, бессильны против органических процессов, и смертельная

тоска, страх смерти всецело наполняли душу поэта в последние дни его мученической жизни. Гоголь невыразимо страдал и желал, чтобы эти страдания скорее окончились; он понимал, что только смерть может окончить его мучения, и боялся смерти; можно себе представить весь ужас этого положения.

Так как, к сожалению, Тарасенков не сообщает нам истории болезни, конец которой он видел сам, не сообщает нам, что наблюдали и думали другие врачи, то мы решительно не знаем, какая собственно болезнь свела Гоголя в могилу. Что эта болезнь была весьма серьезная, доказывается безуспешностью лечения весьма опытных и весьма сведущих врачей; в начале болезни больного лечил Иноземцев, а потом Овер. В самом деле, крайне неосновательно допускать, что эти знаменитые врачи ничего не понимали и ничего не умели. Глубокое уважение к Гоголю, его слава — все это, конечно, побуждало этих врачей отнестись с величайшим вниманием и крайней старательностью. Неуспех всех принятых ими мер указывает на крайне тяжелую болезнь пациента, на бессилие медицины. Д-р Баженов думает, что нужно было бы принять другие меры, т. е. усиленное и даже насильственное кормление, вливание в подкожную клетчатку соляного раствора; я бы предложил и другие средства, но ведь никто не может доказать, что предлагаемые им средства действительно помогли бы больному, а потому все такие рассуждения по меньшей мере нежелательны. Врачи, лечившие Гоголя, вполне понимали какую тяжелую ответственность взяли на себя и пережили немало тяжелых минут; долго и много упрекали их, что они не спасли Гоголя; пора бы и перестать.

Воспоминания доктора Тарасенкова, а отчасти и работа доктора Баженова дали основание упрекать лечивших поэта врачей в грубо доброжелательных насилиях над Гоголем, в том, что они «истязали его и только напрасно, но беспощадно отравляли его последние часы». Действительно, по поводу лечения Гоголя еще раз возникает вопрос, имеют ли врачи право лечить пациента, который, в силу своей болезни, не желает больше жить. На этот вопрос отвечать легко; наша современная мораль обязывает нас спасти человека, желающего утопиться, человека отравившегося, даже когда он не просит о спасении; тем более врачи обязаны всеми дозволенными средствами спасти душевнобольного, сопротивляющегося при лечении. Все это всеми признано и никем не оспаривается. Но нельзя обвинять и не врачей, упрекающих нас в «грубо доброжелательных

насилиях»; ведь невольно является вопрос: ну, а если бы врачи с помощью этих насилий спасли Гоголя — что было бы дальше? Если они не могут вылечить больного, а могут только продолжить жизнь, т. е. мучения, то они, в сущности, только мешают умереть спокойно, с наименьшей суммой страданий. Гоголю жизнь была в тягость; он хотел поскорей умереть; он приготовился к смерти; зачем было ему отравлять непрощенным лечением последние минуты многострадальной жизни. Вот послышки, из которых делается вывод — упрек врачам, и повторяю, мне кажется, что обе стороны правы. Те, кто думает, что человек вполне может, как теперь мы можем, определить последнюю болезнь Гоголя, когда мы нередко не можем диагностировать болезни пациента, умирающего на наших руках. Ницше лечили лучшие специалисты, он долго находился в заведении для душевнобольных, и все же мы не знаем, чем, собственно, страдал этот мыслитель. Для истории литературы так же не имеет значения вопрос, от какой болезни умер Гоголь. Для суждения о состоянии общества того времени, конечно, имеет значение, что Гоголя лечили лучшие врачи, что он пользовался прекрасным уходом, что за ходом его болезни следили с напряженным вниманием многочисленные поклонники его гения, что смерть его повергла в глубокую скорбь всю мыслящую Россию, что похороны его были торжественны.

Заканчивая настоящий очерк, еще раз считаю необходимым оговориться, что я изучал только болезнь Гоголя и потому не претендую на полное объяснение личности гениального поэта. Мне было бы крайне тяжело, если бы некоторые отдельные фразы этого очерка были поняты как порицание или неодобрение нашего великого сатирика. Конечно, точка зрения психиатра несколько отличается от понимания историка литературы, и потому некоторые мои суждения могут быть истолкованы как порицание или недостаток уважения. Но ведь мой очерк, в его целом, проникнут искренним уважением к гениальному больному; по моему разумению, произведения Гоголя, по меткости изображения, по глубине понимания человеческих слабостей, не имеют равных в всемирной литературе. Как психиатр, я преисполнен глубокого уважения и удивления к великому сатирику, который остается великим даже в своей болезни. Обыкновенные люди не хворают так, как Гоголь, болезнь которого доказывала его гениальность. Было бы ошибкой искать в болезни Гоголя тех же проявлений,

которые характерны для заболеваний простых смертных. Конечно, болезнь Гоголя похожа на болезни, наблюдаемые нами постоянно, но она и отличается от них так же, как вообще гений отличается от обыкновенных людей. Гоголь даже в последнем периоде своей многострадальной жизни превосходил не только обыкновенных, но и даровитых людей и, несмотря на свою тяжкую болезнь, удивлял меткостью своих суждений. К сожалению, болезнь ослабила творческие силы великого поэта, наложила свою печать на всю его деятельность, и мы можем лишь скорбеть о том, как многого она нас лишила.

Гоголь так велик, что объективное изучение его болезни и обусловленных ею особенностей его характера и деятельности не может ослабить того уважения, с которым мы обязаны к нему относиться.

Изучение болезни Гоголя, так же как и болезни Ницше, приводит к заключению, что гениальные люди и в болезни отличаются от обыкновенных людей. Ломброзо был вполне прав, указав на тот факт, что многие великие люди страдали душевной болезнью, были наделены психопатической организацией. Но великие люди, насколько мы можем судить по тем далеко неполным и не совсем точным сведениям о их жизни, какими мы обладаем, страдали своеобразными душевными заболеваниями, весьма отличными от тех, какими заболевают обыкновенные люди. Конечно, в болезни Гоголя можно найти и признаки неврастения, и признаки периодического психоза, и признаки паранойи, но все же такие диагнозы будут односторонни, потому что заболевание Гоголя как человека необыкновенного не вмещается в рамки, созданные для заболеваний обыкновенных смертных.

Таким образом, изучение болезни Гоголя подтверждает еще раз, что Гоголь был человек необыкновенный, наделенный — увы! — непонятной нам организацией; в самом деле, разве нам понятно сочетание дивного творчества и душевной болезни, разве нам понятно, как в одном и том же мозгу происходило создание «Мертвых душ» и писем к калужской губернаторше.

Изучение болезни Гоголя, не объясняя нам непостижимой организации нашего общего учителя, однако все же имеет свое значение; мы научаемся отделять здоровое от больного в произведениях и деятельности писателя, которым гордится наше отечество. Благодаря такому изучению мы правильно объясняем отрицательные стороны произведений и деятельности гениального автора, мы понимаем, почему наш великий сатирик создал

так мало, так рано закончил свою столь необходимую для России деятельность, почему он прожил лучший, в смысле деятельности, период жизни за границей, почему он был вполне чужд общественной деятельности.

Таким образом, как это, впрочем, уже ясно из самого заглавия, в мою задачу не могло входить объяснение творчества Гоголя, проявлений его гениального, богато одаренного мозга; творчество нашего великого сатирика изучено достаточно, а сущность гениальности нам непостижима. Моя задача была более скромная: она заключалась в изучении проявлений патологической организации Гоголя, в объяснении, в чем состояла и как проявлялась болезнь гениального писателя. Поэтому моя работа может служить лишь дополнением к уже имеющимся в нашей литературе исследованиям о произведениях и жизни Гоголя. Само собою разумеется, что я не мог всесторонне рассмотреть произведения и жизнь Гоголя, осветил лишь одну сторону предмета, и потому мой труд не может претендовать на полноту.

Еще раз утверждаю, что изучение болезни нашего великого сатирика может только усилить наше уважение к гениальному автору «Ревизора» и «Мертвых душ», которому даже тяжелая душевная болезнь не помешала совершить великое дело.

